

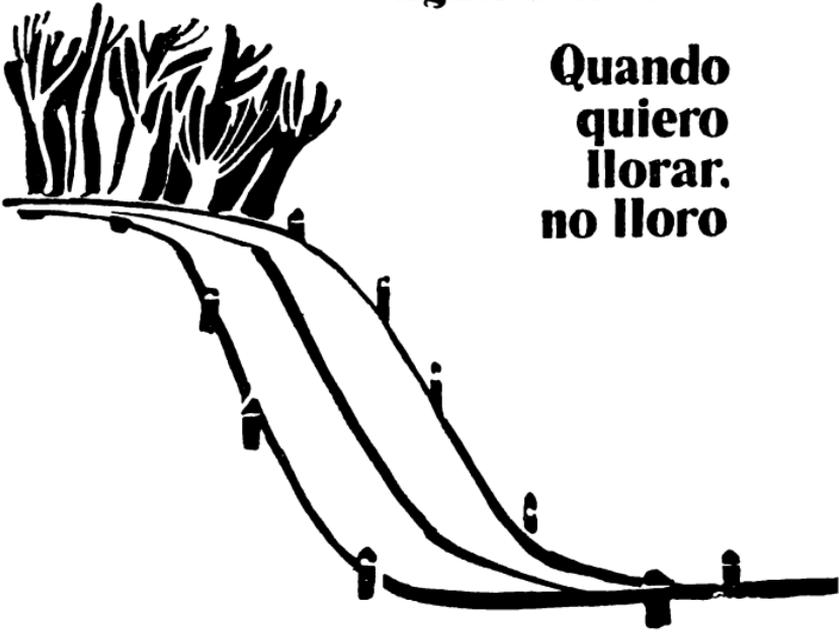
**Мигель
Отеро Сильва**

**Когда
хочется
плакать,
не плачу**



Miguel Otero Silva

**Quando
quero
llorar.
no lloro**



1971

Мигель Отеро Сильва

**Когда
хочется
плакать,
не плачу**

Роман

**Перевод с испанского
М. Былинкиной**



Издательство «Прогресс» Москва 1976

Предисловие В. Гутермана

Редактор Л. Борисевич

© *Перевод на русский язык, «Прогресс». 1973.*

О $\frac{70304-126}{000(01)-76}$ 79-73

«СВЕРКАЮЩИМ СОЛНЕЧНЫМ УТРОМ Я ВЫШЕЛ НА БОЙ...»

История молодого человека эпохи — одна из вечных тем мировой литературы. Видоизменяясь и наполняясь новым содержанием, эта тема постоянно привлекает к себе внимание мастеров слова. Судьбы молодого поколения в данных социальных условиях, его трудности и проблемы, поиски жизненного пути, формирование и становление взглядов не только оказывают непосредственное влияние на жизнь всего общества в настоящее время, но во многом определяют и будущее нации. Поэтому естественно, что молодежь и жгучие вопросы современности, с которыми она неизбежно сталкивается, становятся предметом исследования и художественного осмысления в творчестве писателей, талант которых направлен на раскрытие глубинных процессов социальной действительности.

К числу таких писателей принадлежит и видный венесуэльский поэт, романист, публицист и общественный деятель Мигель Отеро Сильва (род. в 1908 г.). Его имя знакомо советским читателям по изданным у нас романам «Мертвые дома», «Лихорадка», «Пятеро, которые молчали» и др. Творчество Отеро Сильвы отмечено двумя национальными литературными премиями.

Воссоздавая трагическую картину условий существования венесуэльского народа, который на протяжении долгих десятилетий нещадно эксплуатировали латифундисты и иностранные монополии, подвергали жестоким репрессиям сменявшие друг друга диктаторы, Мигель Отеро Сильва неизменно возвращается к проблеме молодого поколения.

Уже в своем первом крупном произведении — романе «Лихорадка» (1939), носящем автобиографический

характер, он выводит на авансцену Видаля Рохаса, входящего в группу революционно настроенных студентов («поколение 28-го года»), которая решила вступить в схватку с тиранией Гомеса, продержавшего страну под своей железной пятой целых 26 лет (1909—1935). Молодые бунтари яростно ненавидят деспотизм. Они искренне сочувствуют угнетенному народу, но не сознают истинных причин социальной несправедливости. У них нет четкой идеологии, и подлинно революционная стратегия и тактика, опирающаяся на поддержку народных масс, осталась для них книгой за семью печатями. Попытки революционеров-марксистов удержать студентов от преждевременных выступлений оказываются напрасными: им претит идея длительной, упорной подготовки к борьбе, и они дают себя вовлечь в путчистскую авантюру. Лишь впоследствии, когда Видаля Рохас и его единомышленники оказываются на каторге, они, осмыслив свой горький опыт, понимают правоту идей и верность тактики настоящих революционеров.

На путь борьбы за человеческие условия существования, против равнодушия властей, обрекающих на вымирание жителей маленького венесуэльского городка Ортиса, вступают и молодые герои романа Отеро Сильвы «Мертвые дома» (1955) — полный сил и энергии Себастьян и его невеста Кармен Роса. Однако желтая лихорадка, которая из-за крайней нищеты и отсутствия медицинской помощи стала бичом городка Ортиса, обрывает жизнь Себастьяна. Кармен Роса покидает город мертвых домов.

В 1963 г. в Аргентине вышел роман Мигеля Отеро Сильвы «Смерть Онорио» (в русском переводе — «Пятеро, которые молчали»). С большой художественной убедительностью автор показывает дикий разгул полицейского произвола, царившего в Венесуэле в те годы. Но не столько изощренные пытки и издевательства над политзаключенными, сколько величие духа, нестигаемая воля и светлый оптимизм борцов против тирании потрясают читателя.

В 1970 г. был опубликован новый роман Отеро Сильвы «Когда хочется плакать, не плачу», выдержавший на родине автора уже шесть изданий и ставший широко известным на всем Латиноамериканском континенте.

В этом произведении писатель снова обращается к

судьбам молодого поколения, на что указывает и само название романа — строка из стихотворения выдающегося никарагуанского поэта Рубена Дарио, посвященного молодежи (1936 г.). На этот раз речь идет о новом поколении — поколении 60-х годов.

Повествование начинается с пространного «Христианского пролога, прерываемого мерзкими откровениями римского императора». Это своеобразное вступление, написанное в гротескно-трагическом ключе и, кстати, свидетельствующее о блестящей исторической эрудиции автора, на первый взгляд кажется почти не связанным с основным сюжетом книги.

Рим на рубеже III-IV веков нашей эры. Дальновидный и коварный политик император Диоклетиан усиливает гонения против последователей христианской религии, ставшей одним из мощных идеологических факторов, подтачивающих могущество некогда всемогущего Рима.

Показывая тщетность попыток идущего к упадку римского государства спасти себя путем истребления новых идей, писатель как бы лишней раз подчеркивает историческую обреченность отжившего социального строя. И в этом, пожалуй, наиболее существенная связь пролога с основным сюжетом произведения. Ощущение неотвратимости близкой гибели существующего порядка вещей и неизбежности утверждения нового пронизывает всю атмосферу романа. Крайнее обострение общественных противоречий в Венесуэле 60-х годов, связанное с надвигавшейся ломкой традиционной диктаторской системы правления, своеобразно отразилось и на судьбах молодых людей, выведенных на страницах новой книги Отеро Сильвы.

Немалое значение для раскрытия основной идеи произведения имеет и та высокая дань, которая отдается в прологе несокрушимой верности идеалам, проявленной четырьмя братьями-римлянами, принявшими мученическую смерть. Такую же верность проявляет и один из центральных персонажей романа — студент-революционер Викторино Пердомо, хотя он и следует по заведомо ложному пути. В то же время образы римских юношей из пролога явно противопоставлены другим молодым героям книги, гибнущим бесцельной и бесславной смертью.

Роман «Когда хочется плакать, не плачу», если не считать пролога, состоит как бы из трех самостоятельных новелл — каждая со своим главным героем. При этом эпизоды жизни героев последовательно чередуются, сливаясь в единое повествование о судьбе трех венесуэльских юношей.

Внешне эти юноши связаны между собой разве лишь тем, что родились в одном городе в один и тот же день 1948 года, названы одним и тем же именем Викторино и жизнь их обрывается тоже в один и тот же день. В остальном они как будто не имеют ничего общего друг с другом. Они принадлежат к разной социальной среде, между собой не знакомы, и их жизненные пути нигде не пересекаются. Вместе с тем между этими юношами существует пусть и незримая, но глубокая связь. Их объединяет историческая общность нации, принадлежность к одному поколению, время, в которое они живут. И каждый из них, хотя и по-своему, со своих позиций, протестует против существующих устоев и вступает в конфликт с действительностью. Именно поэтому рассказ о разных судьбах трех молодых людей воспринимается как рассказ о судьбе всего поколения и повествование приобретает целостность, несмотря на фрагментарное построение. Примененный Отеро Сильвой прием своеобразного монтажа сообщает произведению особую динамичность, драматическую напряженность и эмоциональную остроту.

Персонажи романа «Когда хочется плакать, не плачу» представляют три различных общественных слоя, и это дает возможность писателю довольно широко показать венесуэльское общество 60-х годов. Умело отобранными точными деталями рисуя атмосферу, в которой растут и воспитываются его герои, автор сосредоточивает свое внимание на раскрытии их характеров. Герои даны не только в действии, мы узнаем об их душевном состоянии в наиболее острых жизненных ситуациях, чаще всего из внутреннего монолога, который сообщает повествованию особую лирическую взволнованность и позволяет глубже и тоньше отразить духовный мир героев.

Итак, трое юношей по имени Викторино, три жизни, три судьбы.

История короткой, словно вспышка молнии, и обжи-

гающей, как пламя, жизни негритянского юноши Викторино Переса, несмотря на свою исключительность, типична для венесуэльской молодежи городских низов. Разумеется, Перес не обязательно должен был стать бандитом. Этот факт определяется конкретной, частной ситуацией, хотя и в данном случае художественная логика вполне совпадает с логикой жизни. Однако жестокий конфликт с обществом, в который вступают молодые люди, подобные Пересу, чуть ли не с первых своих шагов носит общий характер. Подростка Викторино к опасному воровскому ремеслу приобщает Крисанто Гуанчес — мальчишка постарше его, уже не раз бежавший из мест заключения. Тем не менее это вовсе не значит, что Крисанто сыграл какую-то роковую роль в судьбе Викторино. В самих условиях его жизни коренилось достаточно причин, чтобы Перес мог стать «врагом общества № 1».

Отеро Сильва ни в малейшей степени не идеализирует своего героя и не пытается вызвать сочувствие к нему как к жертве социального неурядства. С беспощадностью художника-реалиста он показывает нравственную неразвитость и антисоциальность поведения Викторино Переса. Вместе с тем идейная позиция автора, гневно осуждающего мир, в котором мятежный дух молодых людей, подобных Викторино, находит выход в бандитизме, совершенно очевидна. Рисуя образ юноши, погрязшего в преступлениях, для которого уже нет иного пути, писатель наделяет его — и это несколько не противоречит ни логике характера, ни объективной реальности — чертами подлинной человечности. Перес — натура горячая, неукротимая, порывистая, способная глубоко ненавидеть и так же глубоко любить и страдать.

В противоположность Викторино Пересу второй герой романа, Викторино Перальта, стоит на высшей ступени общественной лестницы. Сын богатого латифундиста и инженера, он с детских лет не знает отказа в своих прихотях и постепенно проникается сознанием собственной исключительности. Кроме известной привязанности к матери и мальчишеской страсти к своей двоюродной сестре Мальвине, он ни к кому человеческих чувств не питает, любит лишь самого себя. Спорт и особенно бешеные гонки на автомобиле — его единственное занятие и увлечение. А развлекается Перальта

со своими друзьями, такими же, как он, бездельниками из богатых семей, дикими хулиганскими выходками, причем особое удовольствие они получают, эпатируя респектабельные семьи своего же круга.

Ставя превыше всего культ силы, он глубоко презирает студентов, ученых, писателей и даже священников — всякого рода «интеллектуалов-мозгляков». Однако за этим презрением нищего духом юнца к людям духовно богатым скрывается неосознанный страх аристократа перед теми силами, которые могут лишить его и его класс богатства и власти. Правда, Викторино Перальта по-своему тоже «бунтует». Но это бунт не против социального зла. Эскапады Перальты направлены лишь против того затхлого мещанства, которое все больше пропитывает венесуэльскую аристократию, срачивающуюся с буржуазией. В нравственном отношении этот представитель «золотой молодежи» нисколько не выше бандита Переса, а в социальном, пожалуй, не менее опасен. Люди, подобные Перальте, с их гипертрофированным эгоизмом, преклонением перед силой и презрением к человеку, были и остаются опорой и верной гвардией военно-фашистских диктатур.

Хотя в романе, как уже говорилось, действуют три главных героя, центральным персонажем следует все же считать Викторино Пердомо. Это справедливо как с точки зрения актуальности образа, так и его художественной глубины.

Викторино Пердомо принадлежит к революционно настроенному студенчеству, к поколению молодых борцов, которых известным образом можно считать наследниками и продолжателями дела «поколения 28-го года». Не случайно образ студента Викторино перекликается с образом Видаля Рохаса — героя первого романа Отеро Сильвы. За четыре десятилетия, истекшие с 1928 года, в истории Венесуэлы произошло немало изменений, но и в 1966 году в стране царила очередная диктатура¹, которая, как почти все предыдущие режимы, по выражению венесуэльского писателя Хосе Висенте Абреу,

¹ С 1964 по 1968 г. в Венесуэле у власти находилось правительство президента Леони, который под предлогом борьбы с повстанческим движением не прекращал репрессий против демократических сил.

«прислуживала одному хозяину — нефти», то есть за-океанским монополиям.

Перед молодежью этой поры с новой остротой вставала все та же проблема: как вывести страну на путь свободы и социального прогресса.

Как и его литературный предшественник Видаль Рохас, студент Викторино Пердомо ставит перед собой высокие, благородные цели. Он честен и чист в своих помыслах, исполнен отваги и готовности к самопожертвованию. Но так же, как и Рохас, он — правда, уже в новой исторической обстановке — вступает на ложный, ошибочный путь борьбы за свои идеалы.

Мигель Отеро Сильва, сам прошедший школу 28-го года и не раз подвергавшийся арестам, хорошо знает сильные и слабые стороны левого студенческого движения и в своем новом романе бескомпромиссно указывает на опасность заблуждений в выборе средств борьбы.

Викторино Пердомо уже на первом курсе университета принимает участие в революционных выступлениях студенчества: он становится членом БТЕ (Боевой тактической единицы) ФАЛН¹. Отец юноши, профессиональный революционер, стоящий на твердых марксистских позициях и понимающий, что ФАЛН, которые в свое время сыграли известную положительную роль, уже изжили себя и становятся помехой в подлинно революционной борьбе, пытается переубедить сына. Викторино любит отца и преклоняется перед его стойкостью, ставшей легендой, но не приемлет его доводов. Он считает слишком долгим и малоэффективным путь организованной, систематической борьбы, сочетающей легальные и нелегальные методы и опирающейся на поддержку широких масс. Его упорство определяется не только влиянием ультрареволюционных устремлений мелкобуржуазной студенческой среды, искусственно подогреваемых извне («Я читал листовки Мао», — говорит Викторино). Его экстремизм обусловлен также не только темпераментом, задором молодости. Настроения Викто-

¹ ФАЛН (Фуэрсас армадас де либерасьон насьональ) — «Вооруженные силы национального освобождения», действия которых приостановлены с 1967 г. по решению Компартии Венесуэлы.

рино имеют глубоко личные мотивы: стремление к быстрейшему изменению общественного строя сливается у него с желанием скорее освободить отца, который годами томится в тюрьме. Характерно, однако, что и у самого Викторино — хотя автор на это лишь намекает — зарождаются сомнения в правильности избранного пути. Последняя операция, в которой он участвует и которая кончается трагически, — экспроприация банка. Накануне Викторино несколько раз повторяет про себя, что он «предпочел бы, чтобы это не был банк, чтобы налет даже внешне не смахивал на обычный грабеж, которым занимается всякое отребье». Но он уже не может свернуть с дороги, по которой идет.

Из всех проблем, затронутых в романе «Когда хочется плакать, не плачу», наиболее важной является опасность для освободительного движения левацких заскоков анархистского и иного толка. Проблема эта актуальна не только для Венесуэлы и не только для Латиноамериканского континента. Экстремистские настроения, которыми заражена известная часть молодежи, не имеют ничего общего с действительной революционностью. При всей привлекательности образа Викторино Пердомо этот герой не может служить идеалом для передовой молодежи. Путь борьбы, который он избирает, в современных условиях ведет не к победе, а к поражению и лишь компрометирует благородство поставленной цели.

Разумеется, Отеро Сильва показывает в романе далеко не всю венесуэльскую молодежь. Значительная ее часть сумела найти настоящее место в жизни и занять верные позиции в борьбе за лучшее будущее нации. Однако писателя в первую очередь волнует судьба тех групп молодежи, которые являются носителями опасных тенденций. И именно от подобных тенденций он считает своим долгом предостеречь молодое поколение.

Если роман Отеро Сильвы «Лихорадка» прозвучал как своего рода революционный призыв, «Пятеро, которые молчали» как гимн стойкости революционных борцов, то со страниц последней книги писателя прежде всего слышится предостережение.

Продолжая традицию венесуэльского реалистического романа, Мигель Отеро Сильва поднимает его на более высокую ступень, обогащая новыми образами, новыми

стилистическими приемами, а главное — пронизывая его жизнеутверждающим оптимизмом.

Для романа «Когда хочется плакать, не плачу», как и для всех предыдущих произведений Отеро Сильвы, характерны социальная заостренность и политическая актуальность. Однако эта актуальность не является сиюминутной, строго ограниченной сегодняшним днем, поскольку она помогает писателю создать полнокровные образы, воплощающие особенности национального характера и приобретающие тем самым непреходящее значение. Несмотря на отсутствие сложной интриги, крутых сюжетных поворотов и острых столкновений характеров, книги писателя отличаются той занимательностью, которая, по словам Достоевского, является несомненным признаком талантливости. Произведения Мигеля Отеро Сильвы, и особенно его последний роман, увлекательны не только и не столько в силу своеобразной «кинематографической» живости повествования и богатства изобразительных средств, сколько благодаря правдивости и внутренней взволнованности рассказа, который заставляет читателя с захватывающим интересом следить за всеми перипетиями судеб героев.

Жизнь, венесуэльская действительность дала писателю трагические сюжеты. Однако о каких бы тяжелых и печальных событиях ни шла речь, Отеро Сильва всегда говорит языком мужественным, в котором не слышится ни малейшей ноты сентиментальности или пессимизма. Его произведения проникнуты любовью к человеку, верой в него и в его возможности. В финале романа «Когда хочется плакать, не плачу» студенты на похоронах Викторино Пердомо, замученного в полицейских застенках, клянутся отомстить за него и поют знаменитую песню итальянских партизан «Bella, ciao», озаренную предчувствием грядущей победы: «Сверкающим солнечным утром я вышел на бой...»

Надо надеяться, что друзья Викторино сумеют выполнить свою клятву, но пойдут по иному пути, избегая ошибок и заблуждений, ставших уделом их товарища.

В. ГУТЕРМАН

*Моему сыну
Мигелю Энрике Отеро*



**Христианский
пролог.
прерываемый
мерзкими
откровениями
римского
императора**

Четыре воина — Север, Севериан, Карпофор и Викторин — бороздят улочки рынка, твердо зная, что их скоро прикончат. Четыре султана, украшающих шлем, горделиво плывут сквозь дым коптилен и выкрики уличных торговцев; бери эти синие ленты для щиколоток своего любимого эфеба, налетай на финики, что слаще молока матери Венеры; лей холодный овсяный напиток в пересошую глотку, ешь круглые сочные медовые лепешки, завернутые в виноградные листья; хватай Диан, разевающих рты от скуки на кирпично-красных камнях. Дробный грохот четырех пар сандалий заставляет робко тявкать собак Рима и от страха мочиться кошек Рима, а некая старая римлянка честит их негодниками и проходимцами, целя, однако, наметанным глазом на четыре роскошные прорехи, поочередно мелькающие около ее лотка. Четыре брата — Север, Севериан, Карпофор, Викторин — шагают прямо вперед, не глядя на многоцветье весеннего хаоса, не смакуя густого аромата яблонь и не сплевывая от тяжелого запаха помоев; они идут в горькой уверенности, что не спать им этой ночью ни в своей постели, ни в клетушке продажной потаскухи. Они — христиане и навсегда заморожены званием мучеников, которое им вбила в голову их мать, — даже кинжал ангела святой любви не заставит их отказаться от нимба и зачисления в святцы.

Север, Севериан, Карпофор, Викторин — солдаты императорской гвардии, свирепые в бою, как дикие кабаны; несгибаемые в страданиях, как колонны Большого цирка; дисциплинированные в битвах, как ручьи в акведуках, в общем — солдаты. Они — христиане, из той самой секты, что бредит Павлом и Оригеном. Но христианство

уже перестало быть в Риме зрелищем кровопролития, обжорства диких зверей и публичной поножовщины; общественное мнение превратило его в авторитетную религию, почти господствующую. Сенатор Корнелий Савин, внук и тезка трибуна, внесшего свой вклад в низвержение Калигулы патриотическим ударом меча в брюхо деспота, уже очистил свои покои от напружившихся дискоболов, отдыхающих Марсов, грудастых Венер, похотливых сатиров, дремлющих гермафродитов и других греко-римских шалопаев, чтобы создать храм Иисуса Христа. Дорофей, мажордом в замке Диоклетиана, вчерашний заядлый эпикуреец, отныне опохмеляется не суслом из Сабинны и Фалерно, а крепким святым словом Евангелия. Мавриций, лихой командир Фиванского легиона, перед сражением поспешно чертит пальцами на лбу мистические знаки. Укоренение *ad aeternum*¹ новой религии наглядно доказали полный разгром трехсот субъектов, колебавшихся в своих убеждениях, и изгнание тридцати двух тысяч пятисот шестнадцати богов, которые мирно сосуществовали в Риме, а теперь валяются вверх тормашками, вытесненные единым истинным богом. Над язычеством уже нависли неумолимые тучи, готовые разрешиться его этической, философской и материальной катастрофой, когда вдруг император Диоклетиан, властелин, обладающий недюжинным умом и добрейшей душой, поддается подлым наветам своего соратника и зятя Галерия и повелевает...

I. От злости в своем саркофаге перевернешься, слыша такое, — рычит Диоклетиан.

II. Галерий-то был всего-навсего грязный болгарский пастух. Я заставил его шестьдесят дней кряду париться в моих банях, пока он отмыл вонь козлиную. Когда он прополоскался, я женил его на своей дочке, Валерии, а женатого сделал цезарем, то есть своим наследником, и уже цезарем отправил его убивать сарматов, языгов, карпов, бастарнов и т. п. Это ему было больше по вкусу, чем возиться в постели с Валерией, ученой птицей, которая обо всем затевала диспуты, даже о том, как лучше возлежать у стола с яствами.

¹ Навеки (лат.).

III. Ненависть Галерия к христианам объяснялась вовсе не расовыми или религиозными чудачествами, не злобным сердцем и темными инстинктами, а вполне понятным желанием делать все назло своей августейшей супруге — не всякий стерпел бы тебя, дочь моя, Валерия, чмокавшая распятия и шатавшаяся по катакомбам со своей мамашей, иначе говоря, с моей супругой Приской, жуткой уродиной с чисто этрусским носом и чисто этрусским упрямством.

IV. На мой величественный государственный акт, специальный указ, коим я велел изображать себя по образу и подобию Юпитера, упомянутая Приска ответила тем, что решила предстать в весьма не подходящем для нее обличье Юноны, с олимпийским упорством стараясь исковеркать мне жизнь и царствование — я этими бабами сыт по самую диадему.

V. Галерий же, ко всему прочему, был сыном ведьмы или жрицы с Дакийских гор, точно не помню. С материнским молоком он всосал тамошнее колдовство, еще в колыбели напичкался рассказами о том, что христиане — всего зла корень, чем они, в сущности, и являются.

VI. В общем, во всех случаях — *feminam quaerite* или *cherchez la femme*¹, как лепечут на обезьяньем наречии дикие галлы, оскверняя своим языком чистый источник Вергилия.

VII. Галерий не обладал, однако, логикой, чтобы кого-нибудь в чем-нибудь убедить, не говоря уже обо мне, о Диоклетиане, — передо мной он стоял столбом, как фаллос Приапа, подавленный моим превосходством во всех областях, даже в военном деле, которое ты, вояка Галерий, любил и знал как свои пять пальцев. Ты никогда не забудешь те сентябрьские календы, когда мне самому надо было встать во главе войска, чтобы помешать Нерсею, царю персидскому, вытащить свой ятаган и оскопить тебя наподобие евнуха, как эти самые бедуины сделали с бедным Валерианом.

VIII. Лживая легенда, которая пытается взвалить на плечи моего зятя Галерия ответственность за мои расправы с христианами, была просто-напросто выдумана молодым поэтом Лактанцием, ханжой и праведником до

¹ Виновата женщина; буквально: «ищите женщину» (лат., франц.).

мозга костей, лукавым святошей, любителем *ога про по-
bis*¹ и прочих заклинаний. Лактанций желал примирить
свои религиозные убеждения с этикой семейных отноше-
ний, которые его со мной связывали (он был не афри-
канцем, как говорят, а моим сыном от одной благород-
ной римской патрицианки, блудницы, прямо скажем,
первостатейной, по имени Петрония Вакуна, жены Кор-
нелия Максима,— теперь я уже не причиню ни малей-
шей неприятности никому из них троих, вещая об этом
публично семнадцать веков спустя). Лактанций в своей
сыновней клеветнической писанине стал трубить на
весь свет, что я был добродушным стариком и что, мол,
только наглость Галерия и его упорство одолели меня,
Диоклетиана, заставили повернуть вспять и внезапно,
со всей силой обрушиться на христиан, обирать их церк-
ви, конфисковать их имущество, жечь их пергамены,
вынуждать их приносить жертвы нашим богам, от чего
им было особенно тошно.

IX. Если меня не поймали в свои сети ни сократовы
пройдохи, ни платоновы болтуны, если пришлось уге-
реться краснобаю Полибию, мудриле Корнелию Лабвию,
хитрому греку Гиероклу² со всеми его остроумными
зверствами; если плевать я хотел на неоспоримые ари-
стотелевы силлогизмы и нравоучения стоиков, на всю
ученость, какая выливалась на мою деревенскую дал-
матскую башку, чтобы убедить меня изничтожить и вы-
жечь эту христианскую язву, как был выжжен Карфа-
ген — и даже чище,— откуда же было набраться ума
паршивому Галерию, моему болвану Галерию, чтобы на-
качать меня злостью, распалить мою ярость и подбить
меня на такие жесточайшие кровопускания?

X. Ни Галерий, ни софисты, ни пифии, ни авгуры,
ни потроха черных петухов, ни сейсмические прогнозы
богов не значили ничего. Я делал только то, чего мой
юпитерский... ум хотел. На этот величественный столп
я тогда и оперся, потому что твердая опора была срочно
нужна для спасения империи, которая досталась мне
подгнившей, порочной, воняющей тленом и засиженной
мухами.

¹ Молись о нас (*лат.*).

² Судья из Ниневии, преследовавший христиан во вре-
мена Диоклетиана.

Север, Севериан, Карпофор, Викторин удалились от развратного дворцового мрамора, неблагозвучных труб и рыночного чада и шествуют теперь через поля, вверх по Аппиевой дороге. За их спиной осталось шмелиное жужжание вековых распрей между иудеями и арабами у Капенских ворот. Четыре доблестных воина идут строевым шагом, но не к Рейну, не к Дунаю, не к Евфрату. Они не бранят мальчишку, который пасет коз и плетется им навстречу ни жив ни мертв, ибо они его уже раз пять-шесть жестоко драли за то, что он пасет себе и пасет своих коз в разгульных предместьях Рима, потряхивая золотистыми локонами и моргая светлыми антилопьиными глазами. Они не смотрят ни налево, ни направо, шагают прямо через заросли и овраги. Их не отвлекает ни внезапное вспархивание голубей, ни бесцельный полет ласточек. Они прекрасно знают дорогу: там, за оливковыми рощами Мандрака Германика; там, за дубовым леском Помпония Афродисия, за ручьем с серой водой, в пяти — десяти шагах от шероховатой толстозадой скалы, находится лаз в катакомбы. С трудом протискивают они щиты, мечи, шлемы, копыя, панцири, сандалии, локти, головы и шеи с крестами в узкую щель, годную, может быть, только для ремесленников и пастухов в коротких туниках, этих плебеев, которые босиком и с голыми руками шныряют по дорогам.

Четыре брата, пыхтя и отдуваясь, пролезают внутрь, ящерицами ползут вниз по скользкому, влажному откосу и шлепаются в уже изрядно утоптанное глиняное месиво. Севериан, стоя на четвереньках, нащупывает светильник, прилепившийся в том месте, где ему и полагается быть, зажигает его по всем правилам зажигания светильника в начале четвертого века нашей эры (подите узнайте, как это делалось!), и они начинают свое благословенное блуждание по лабиринту мрачных галерей. Со стен на них glareют ниши с покойниками, погребенными давно или совсем недавно: до того разит надалью, что хоть нос зажимай. Инстинкт бывалых ходоков скоро выводит братьев из потемок к мерцанию факелов, к монотонному гудению молящихся, к наклонной нише в скале, где кого-то хоронят.

Этот покойник, наверно, христианин первого сорта. Стоит только поглядеть на сандалии с толстенной подошвой знатных римлян и на пышные прически римлянок,

которые его оплакивают, окуривают чадом свечей и бубнят отходную. Викторин не сводит глаз — нет, не с покойного, а с его племянницы, Филомены. Ее имя он узнает часом позже. Волосы у нее распущены по плечам; светлое чело обвито двойной лентой, унизанной сапфирами; холмики грудей приподняты и стянуты пурпурным шнуром на самых розовых вершинках (так надо думать) под складками толы¹. Ее окружает хор женщин, как и она, христианок, ее услужливых рабынь в этом неравноправном мире. Одна из них заботится о ее локонах, другая подкрашивает ее ресницы, третья печется о белизне ее зубов, четвертая бреет ей под мышками, пятая обмывает груди молоком гнедой кобылы, шестая натирает благовониями спину, седьмая массирует живот ароматическими маслами, восьмая смазывает чресла жасминовой эссенцией; девятая холит ножки, как двух голубков (ох, Викторин, держись!); десятая читает ей по утрам эпиграммы Марциала, чтобы ее лицо озарялось улыбкой, а растрисесятая рассказывает по вечерам что-нибудь из «Фиваиды» Стация², чтобы она поскорее уснула.

Марцелиан, верховный понтифик, спешит закруглить церемонию: *requiem aeternum*, что надо этим четверем воякам здесь, в эту пору? *Dona eis Domine*, сейчас к тому же столько разных слухов ходит по Риму, *Domine exaudi vocem meam*, а вчера ночью мне приснилось, будто страшнейший нумидийский лев сожрал меня целиком, *et lux perpetua luceat eis*³, еще и проклятый геморрой не дает покоя, *amen*, аминь.

— Что случилось, сыны мои? — У него подрагивает хлопчато-белая борода: Марцелиан — благодушный и набожный мудрец, но трусливый мозгляк.

Север, старший из четырех братьев, подает зычный голос. Вошел в силу эдикт Диоклетиана. Более сорока христиан подвергнуты пыткам сегодня утром. Почти все — хвала господу богу — достойно стерпели муки и приведенные в действие угрозы. Они отказались при-

¹ Длинное просторное платье римских женщин.

² Мифологическая поэма о войне Полиниция и Эфокла в древнем Египте.

³ Вечный покой... Воздай им, господи... Боже, услышь глас мой... И да воссияет им свет твой присносущный (лат.).

чести жертвы на алтарь языческих богов и умерли, громогласно заявив о своей верности Иисусу Христу, умерли, озаренные радостью, что возносятся на небеса.

— Подлинный апофеоз, отец, вдохновляющий праздник духа.

— А все ли попали в рай? Все без исключения?

Север мрачно качает головой. Трем или четверым из пятидесяти не хватило мужества, они раскололись, как стекло, под ударами; признали ложных богов, чтобы спасти свою шкуру. А один-единственный — разрази его гром! — сказал то, чего не должен был говорить.

— Что же он сказал? — Бородка верховного понтифика дрожит, как заячий хвост.

— Подвешенный за ноги под сводами портика, обезумевший от прикосновений пылающей головни к голой заднице, ученик Спион Подлеций отрекся от своей веры, сам сатана заговорил его устами. Он назвал множество имен. У мерзавца отличная память, он выдал наши храмы, предложил показать путь в катакомбах. Они должны вот-вот быть здесь, а нас четверых он не выдал только потому, что мы присутствовали там в качестве прославленных воинов, но он нас предаст на следующем публичном отречении, будьте уверены.

Викторин не стремится скрыть свои чувства к прекрасной римлянке, оплакивающей дядюшку, а прекрасная римлянка на минуту перестает оплакивать дядюшку, чтобы спросить себя, кто этот видный воин, который здесь, в святом склепе, не раздумывая умрет от любви к ней. Стрелы Купидона, сына Венеры и Вулкана (а может быть, Марса), стрелы Купидона не стесняются проникнуть даже в самые глубокие тайники новой веры.

— Диоклетиан, о смертоубийца Диоклетиан! — простонал боязливо и мелодраматично Марцелиан. — Мало ему разорвать Римскую империю на четыре части, расчленив самым зверским образом могучую родину Цезаря и Августа, мало ему этого абсурдного четвертования, которое...

XI. Милостивый Юпитер, — рычит Диоклетиан. — Этот старый иудей, безродный и обрезанный, еще осмеливается болтать о величии и целостности Римской

империи, чтобы опорочить мою систему четверовластия, тетрархическую систему правления, которая — к черту скромность — является гениальнейшим политическим изобретением, сделанным государственным мужем со времен Ликурга до наших дней!

XII. Я родился не для императорского трона — по крайней мере если судить по видимости, — а для того, чтобы разводить овощи, холостить свиней или пасть солдатом на поле брани. Отец мой — не консул, дед — не сенатор, мать — не беспутная тварь, а при таких обстоятельствах нелегко сделать карьеру. Зачала меня мать-крестьянка от бывшего раба сенатора Анулино, вольноотпущенника — отца моего, который в детстве нырял за устричными ракушками среди скал Салоны.

XIII. Однако уже в ранней юности были некоторые предзнаменования, говорившие о том, что спасение Рима должно стать делом моих рук: мраморный Марс всякий раз взмахивал щитом, когда я проходил мимо него, а однажды ночью мне явился сам Юпитер в виде разъяренного быка при свете молний. Подчинившись этим знамениям, я стал солдатом, хотя и не любил воевать; я приучил себя мыслить, как философ, хотя моей естественной склонностью было изрыгать незамысловатые словечки в веселых домах; я усвоил замашки дипломата и царедворца, хотя мне было больше по душе затыкать рот жирным матронам и публично обзывать вонючими подонками самых благородных патрициев; меня сделали начальником преторианской гвардии, хотя мне всегда была противна должность полицейского; и, наконец, я воткнул меч по самую рукоятку в префекта преторианцев Менду, хотя никогда не мог переносить даже вида раненой перепелки — вся душа моя переворачивалась.

XIV. И когда по трудной лестнице убийств я добрался до императорского трона, что же мне досталось от великой Римской империи Октавиана и Марка Аврелия? Огромные владения, подточенные всеми земными пороками, извне осаждаемые варварами всех пород и мастей, изнутри минированные внуками и правнуками варваров, которые втерлись в римское общество верхом на троянских конях местных блудливых матрон. Я увидел государство, обираемое и разоряемое спекулянтами,

республику роконосцев и разгильдяев, где уже никто не рвался сесть на трон, потому что сесть на трон означало то же самое, что хватить сразу целую амфору цикуты.

XV. Такова была обстановка в государстве, и я, приняв бразды правления, твердо решил сделать два дела: восстановить расхлябанную империю и умереть в собственной постели с императорскими сандалиями на ногах — последнее было куда труднее, учитывая предыдущие события. Послушайте похоронный барабанный бой последних пятидесяти лет:

отличного властителя и примерного сына, Александра Севера прикончили его же солдаты; заодно убрали и его замечательную матушку Маммею, которая быстро схлопотала себе саван;

трон перешел к Гордиану Первому, но Гордиан Первый сам себя порешил, узнав, что дюжий Максимиин (рост — метр девяносто) ухлопал его сына, Гордиана Второго;

что касается Максимиана, а равным образом и Максима, которого этот верзила сделал цезарем, — из них обоих войско приготовило недурное жаркое;

подошла очередь царствовать Бальбину, но и его быстро уколошили преторианцы;

затем наступил черед Гордиана Третьего сесть на трон. Его вместе с опекуном и регентом Мисистеем спровадил на тот свет Филипп Араб;

немного погодя гвардейцы Деция прикончили упомянутого Филиппа Араба во время торжества в память сражения при Вероне, а сынку его, Филиппу Арабчику, набили полон рот римскими муравьями — лет двенадцать было бедняжке, не больше;

Децию в свою очередь изменили его же генералы и выдали готам, а эти варвары тут же выпустили из него кишки;

Галла, следующего, пристукнули его солдаты и после того, как он был *consumatum*¹, перешли на сторону Эмилиана;

эти же самые душегубы по прошествии нескольких месяцев угрохали Эмилиана по совету Валериана;

страдалец и человек передовых взглядов, Валериан

¹ Погублен (лат.).

попал в руки персу Сасаниду Шапуру. Азиаты его пытали, преспокойно кастрировали, довели своими фокусами до безумия, заточили в клетку, как зверя, и напоследок разорвали на куски, живодеры!

Галлиена, ретивого поэта и сына Валериана, отправили к праотцам заговорщики, которых подстрекал к расправе генерал по имени Аврелий;

Клавдий Второй, который пришел вслед за тем, расправился с Аврелием — и правильно сделал;

чума или отравка — точь-в-точь как чума — свела в могилу Клавдия Второго;

далее объявился некий Квинтилиан, выдававший себя за брата умершего, но вскоре он покончил с собой, а на самом деле кто-то выпустил кишки из этого Квинтилиана через семнадцать дней после того, как он обрядился в императорский пурпур;

нежданно-негаданно вырвался вперед Аврелиан, железная рука, единственный в этой рау roll¹ достойный звания императора, что не помешало вышибить из него дух вольноотпущенному Мнестею, над которым вскоре прочли отходную благодаря стараниям генерала Макапура;

призвали тогда Тацита, почтенного старца семидесяти пяти лет, впалая грудь которого отнюдь не томилась жаждой власти. Его короновали против воли, а вскоре перерезали глотку;

поскольку Флориан, брат и наследник Тацита, думал, что можно править без поддержки войска и согласия сената, то не прошло и трех месяцев, как этому наивному простаку свернули шею;

на сцену вылез Проб, человек неглупый и осторожный; ему удалось продержаться в седле шесть лет. Тут он решил, что настало время заставить солдат поработать в сельском хозяйстве, и они в мгновение ока смастерили ему отличный дубовый ящик;

год спустя неизвестно куда исчез Кар. Одни говорят — его ударила молния, другие говорят — ударил теть;

остался Нумериан, сын Кара, но префект Арий Аур быстренько пустил его в расход.

В этот момент я и рванул на просцениум и, чтобы

¹ Платежная ведомость (англ.).

не отставать от других, снес голову Арию — впрочем, купил для него заранее нишу. В ту же пору Кариний, законный претендент на корону, был стерт с лица земли одним трибуном, у которого упомянутый Кариний увел супругу.

Империя ли это, достойная уважения, или трагическая трилогия Эсхила?

XVI. Положить конец цареубийственной истории можно было лишь с помощью эвклидовой теории о пропорциях и соразмерностях. А в это вязкое болото греческой культуры мне осторожно помогал погружаться ученый коринфский раб Атей Флак, который пичкал меня по утрам в кровати сухими фруктами (завтрак, господа!) и своими наставлениями. Простой арифметический расчет показал, что если вместо одного императора будут одновременно существовать четыре, то шансы оказаться без головы сведутся к двадцати пяти процентам для каждого. Если же никто из четырех правителей не будет находиться в Риме, когда столичным жителям — самым коварным людям на свете — взбрдет на ум прикончить своих властелинов и выкинуть их трупы в Тибр, то римляне вдруг увидят, что для этого им надо затевать изнурительные походы в предалекие области и тащить с собой четыре обоза с яствами для поминок. Таким образом, двадцать пять процентов снижаются до успокоительно твердых пяти, а если Максимилиана послать в Милан, Констанция Хлора — в Германию, Галерия загнать в будущую Югославию, а мне самому податься в Никомедию, что в Малой Азии и весьма далеко от этих прирожденных, по определению Ломброзо, бандитов, то опасность сводится почти к минимуму.

XVII. Далее. Основная причина гибели римских императоров коренилась в следующем: победоносным генералам от успеха моча бросалась в голову и они раздвигались со своими сюзеренами, чтобы самим влезть на трон. Но так как победоносные генералы были нужны, чтобы держать в узде франков, бриттов, германцев, аламанов, бургундов, иберов, лузитан, языгов, карпов, сарматов, готов, остготов, самнитов, сарацинов, сирийцев, армян, персов и других соседей, которые только и ждали, как бы отхватить у нас свои земли, завоеванные нами в честном бою, то у меня родилась мысль

выбрать трех генералов, трех самых настырных генералов в империи (во-первых, моего лучшего и самого послушного друга; во-вторых, того, которого я сделал своим зятем, и, в-третьих, того, которого я сделал зятем своего лучшего и самого послушного друга) и возвести их в ранг таких же императоров, каким был я, отвалив им столько пурпурного бархата, сколько болталось на моих плечах, хотя, по правде говоря, все это было сплошной фикцией.

XVIII. Вот каково на деле это четверовластие, тетрархия — стол с одной ножкой на полу и тремя в воздухе, абсолютизм без деспота, централизм без пупа, окружность без центра, а если отбросить формальную сторону, — некое подобие государственной реформы, чтобы если и не воскресить Рим — потому как легче схватить луну с неба, — то по меньшей мере мумифицировать его труп. Так делали египтяне с милыми их сердцу покойниками, чтобы не видеть, как родня гниет на глазах.

Север, Севериан, Карпофор и Викторин занимают самый дальний стол в таверне вольноотпущенника Кассия Кая, отставного гладиатора, карфагенца по происхождению, о чем свидетельствуют его темная кожа и курчавая шевелюра. Кассий Кай, после того как он, со знанием дела вспоров животы, уложил на песок изрядное количество своих противников — и со щитами, и с сетями, — обзавелся этим значным местечком с винами и закусками. И никто не упрекает его, что он таким способом извлекает доходы из своей популярности, приобретенной за счет великого риска и стольких легких чужих смертей. Владелец таверны, этот циклоп из куска смолы и черного дерева, собственноручно обслуживает клиентов, таская кувшины с вином и огромные блюда с дымящимися барашками, опуская монеты в гигантский замшевый кошель, что висит у него на поясе.

Север, Севериан, Карпофор и Викторин согласно кивнули головами: да, они будут слушать песни неаполитанского трубадура, который бродит от стола к столу, — неизбежное бедствие любой римской таверны. И солист под аккомпанемент визгливого рожка, треску-

чего систра¹ и жалобной свирели завел нудную слезную песнь, в которой молил даму своего сердца сменить гнев на милость и вернуться в Сорренто. Тут все четыре брата, проникшись средиземноморской романтикой, заказывают себе на ужин осьминога в уксусе и по кувшину густого кипрского вина. Несмотря на все свое мужество бойцов и твердость христианской веры, они с вполне объяснимой скорбью ждут страшного мистического испытания, которого не избежать. Слава мученика, конечно, невыразимо прекрасна: не успеешь глазом моргнуть — и ты уже в раю; они это знают, но им кажется несколько преждевременным сподобиться такой благодати, не достигнув и тридцати лет. Особенно Викторину, который влюбился менее четырех часов тому назад: *Филомена, ароматом наполняющая все мои воспоминания; неаполитанская мелодия, медом разливающаяся по всему нутру.*

Иногда они говорят о какой-то ерунде или делают вид, что говорят; делают вид, что пьют; делают вид, что слушают стенания свирели и не чувствуют подозрительно затхлого запаха кальмаров — обязательного блюда всех ресторанов Рима. И все потому, что они не в состоянии оторвать глаза от мраморных ступеней, которые ведут на улицу, спиралью поднимаясь вверх, обвивая статую покровителя сих мест — Вакха. Кабацкий бог держит в левой руке виноградную кисть, а пальцами правой (указательным, средним и безымянным) строит какую-то, видимо очень неприличную, комбинацию.

Появление сбиров вызывает страшный переполох среди посетителей, сидящих за другими столами, где нет ни одного римлянина, — все ассимилированные варвары: бесстрастные британцы, пришедшие, конечно, со своими собачками; галлы, с вожделием пялящие глаза на осьминожьи щупальца; германцы, то и дело встающие со своих мест, чтобы поближе посмотреть на статую Вакха и осторожно его пощупать; иберы, горлающие во всю глотку о своих домашних дрызгах после второго кувшина вина; сирийцы в плащах, режущиеся в карты, цедя сквозь зубы ругательства и бросая друг на друга свирепые взгляды. Каждый из них думает,

¹ Музыкальный инструмент, род трещотки, употреблявшийся в древнем Египте.

что преторианская полиция пришла за ним; все цепенеют и затем облегченно вздыхают, видя, что сбiry направляются к единственным четырем римлянам, присутствующим в таверне, да вдобавок еще военным в пышно украшенных шлемах.

— Сдать оружие! Вы арестованы! — кричит начальник преторианцев.

— Да будет на то воля божья! — говорит Север.

— В руки его отдаю свою душу! — говорит Севериан.

— Да придет царствие твое! — говорит Карпофор.

— Катитесь вы к... чертовой матери! — говорит Викторин.

После этих последних, достаточно красноречивых слов преторианские гвардейцы — числом двенадцать — набрасываются на Викторина, и начинается тут заваруха, не дай тебе господи. По кривой летят через весь погребок столы, скамьи, блюда и чаши: вино красными кляксами заляпывает стены; жены галлов пищат, как крысы на случке; иберы, сами не зная зачем, кидаются в общую свалку; сирийцы используют удобный момент, чтобы улизнуть, не заплатив по счету. Кассий Кай, взирая на погром в своем заведении, забыв о своей мощной мускулатуре и репутации непобедимого гладиатора, даже думать боится о защите своих гостей, и только блеет, как ягненок, заблудившийся в чертополохе:

— *Rax vobis, rax vobis...*¹

Преторианские гвардейцы уводят всех: не только четверых братьев, за которыми пришли, но также и иберов, вмешавшихся в чужую драку, и длинноштаных германцев, и деликатных галлов, и даже бесстрастных, всеми уважаемых бриттов. Преторианцы, а за ними их вопящие пленники поднимаются по лестнице и вливаются в улицу, кипащую балагурами возницами, назойливыми туристами и липнувшими ко всем проститутками. Издали слышны крики из переполненного Большого цирка, рев публики, которая присутствует, как всегда, на играх атлетов из Рима и Милана; и, как всегда, на сей раз побеждают миланцы: три — ноль. О Рим, вечный и неизменный!

¹ Мир вам, мир вам... (лат.)

Кассий Кай мечется в своей таверне, как грешная душа в чистилище. Осталась только жирная германка, упавшая в обморок во время баталии. Экс-гладиатор перешагивает через поваленные скамьи, опрокинутые столы, битую посуду, статую Вакха уже без виноградной кисти и неприлично торчащих пальцев. И этот гигант, который глазом не моргнул перед мечом или трезубцем своих противников, рыдает, икая и пуская слюни, оплакивая свою сломанную корявую мебель, пролитое разбавленное вино и разбитые бочки с тухлыми каракатицами.

— Во всем виноват только Диоклетиан, — бормочет владелец таверны всхлипывая. Он позволяет себе корить императора лишь в безобидной компании бездыханной германки: валькирия продолжает лежать без сознания или в вполне осознанной надежде, что ее кто-нибудь изнасилует под горячую руку. — Этот себялюбивый тиран, — хнычет Кай, — думает только о великолепии своих нарядов, о постройке роскошных бань и забывает, презирает трудовой люд, торговцев, а ведь мы — живая кровь империи. Ненасытное чудовище, грабитель чужого имущества, ему бы только облагать нас налогами и собирать подати...

XIX. Никогда к тому не стремился, — говорит Диоклетиан, — чтобы мои экономические доктрины вызывали восхищение у лавочников, или у апостолов свободной торговли — ох, эти крокодилы! — или у жрецов черного рынка — ох, эти скорпионы! — ибо ограничить алчность этих пиратов и должны мои доктрины.

XX. Курс денег был неустойчив: сегодня повышался, завтра понижался. Я ввел золото в обращение и установил твердый золотой стандарт, о чем раньше и помышлять не смели.

XXI. Спекулянты назначали цены на продукты, какие им вздумается, — не в четыре, а в восемь раз больше положенного, да еще и побольше драли, пивяки бордатые! Я издал строжайший указ, который их обязал брать за товары ровно столько, сколько они стоят.

XXII. Оптовые скупщики накапливали товары, чтобы создавать их нехватку, а потом сбывали на черном рынке. Я загнал плутов в тюрьмы без лишних

слов, наложил на них огромные штрафы, разорил тех, кто мне сопротивлялся, казнил тех, кого не удалось согнуть в бараний рог.

XXIII. Продукцию производили без всякого плана и согласования; свободное предпринимательство, *totum revolutum*¹ в национальной экономике. Я заставил частных промышленников планировать производство, принудил государство создавать доходные мануфактуры.

XXIV. Управленческий аппарат состоял из людей малочисленных, безнадзорных и не всегда честных. Я создал эффективную бюрократическую машину, дал работу тысячам граждан, уменьшил ответственность каждого за счет взаимной слежки.

XXV. Прогресс в стране тормозился политическими смутами. Я стал взимать подати с патрициев, пробил план общественных работ в невиданном масштабе, понастроил школ и бань в каждом городе, дабы промывать мозги и тела своих подданных.

XXVI. И если в самом деле мои доктрины провалились, как проваливались и всегда будут проваливаться экономические теории, если они сталкиваются со злолочной действительностью, все-таки из всего вышесказанного следует, что ваш покорный слуга был провозвестником и выдумщиком таких сущих безделиц, как золотой стандарт, контроль над ценами, планирование экономики, налоговая система, управленческое дело, национализация промышленности и...

XXVII. ...и британский лейборизм, Меркурий его дери.

Север, Севериан, Карпофор, Викторин, уже без шлемов, копий и щитов, но еще сверкая нагрудными панцирями, стоят перед трибуналом, где председательствует плюгавый большелобый судья — тип сократический и ревматический. Но сегодня в нем ревматик берет верх, ибо ноябрь ползет мокрый и холодный с Палатинского холма² и гадючьим жалом впивается в его вспухшие суставы. От афинского мудреца у него сох-

¹ Полный сумбур (лат.).

² Один из семи холмов древнего Рима.

раниется лишь сознание собственного невежества да ироническая ухмылка прирезанного бычка.

— Вас обвиняют в христианстве,— говорит судья с неудовольствием.

— Кто нас обвиняет? — говорит Север.

— Вас обвиняет свидетель Спийон Подлеций, христианин, как и вы, до вчерашнего дня. Между шестью и семью пополудни он вернулся к религии своих предков, наших предков, внемля громкому зову отца и царя всех богов, который собирает тучи и пребывает в эфире. Сам Юпитер громогласно выкликнул его имя и призвал его к себе из угла карцера.

— Мы тебе не верим,— говорит Север.

— Спийона Подлеция повесили под сводами портика,— говорит Карпофор.

— Ему сожгли спину факелом,— говорит Севериан.

— У него уже окоченела задница,— говорит Викторин.

Взметнулись тоги судей, и вздрогнула от страха сотня любопытных — вольноотпущенных, безработных, родственников арестованных, всех, кто здесь присутствует. Плебейскими комментариями лениво обмениваются продавцы вареных сосисок в хлебце, сдобренных восточными специями и потому называющихся *canes calidi* по-латыни, (то есть — *hot dogs*¹, о, невежда читатель). Главный судья наводит тишину ударами деревянного жезла — карающей десницы судейской власти.

— Вы христиане или не христиане? — спрашивает на этот раз без околичностей человек, облаченный в тогу.

— Мы веруем во всемогущего бога-отца,— говорит Север.

— И в его сына, нашего господя-бога,— говорит Севериан.

— И в святого духа,— говорит Карпофор.

— И на... чхать нам на Афины Палладу и всех остальных жильцов Олимпа,— говорит Викторин.

Председатель трибунала обращает взор к статуе Минервы, которая возвышается за его спиной. Сейчас

¹ Горячие собаки (*англ.*) — так в США называют горячие сосиски.

испепеляющая молния должна поразить всех: и обвиняемых, и обвинителей, и публику. Однако Минерва никак не реагирует на кощунственную ругань, сонно прикрыв глаза и неподвижно стоя с покровительственно поднятой правой рукой, в небрежно напяленном шлеме.

— Значит,— говорит судья,— вы заявляете, что изменили отчизне, нашим богам и семье, что распространяете иностранную веру и надругались над своей воинской честью?

— Мы заявляем,— отвечает Север,— что мы самые преданные сыны отчизны, но — христиане; самые любящие чада, но — христиане; самые ревностные блюстители воинской чести, но — христиане.

— И никакие мы не распространители иностранной веры, а ревностные слуги единого истинного бога — не иностранного, а всеобщего,— выпаливает Карпофор.

Судья, утратив сократов сарказм — свидетельство интеллигентности,— перестает ухмыляться. Ему остается лишь аристотелева прямолинейность римского оратора-стоика.

— Рим и его боги — неделимое единство, ergo¹ вы не можете изменять богам, не изменяя Риму. Августейший Диоклетиан есть орудие Юпитера, посланец Юпитера на земле, ergo вы не можете отречься от Юпитера, не отрекаясь от Диоклетиана. И если вы изменяете Риму, если отрекаетесь от императора, как можете вы настаивать на том, что вы честные солдаты императора, не сознаваться в том, что вы вероломные предатели, недостойные своего воинского звания?

— Мы не настаиваем на этом.— Север повернулся спиной к великолепным силлогизмам судьи, к его деревянному жезлу и к мраморной Минерве, чтобы держать речь перед собравшимся людом.— Мы показали свою честность на поле брани. Без дерзкого бесстрашия центурионов, трибунов, солдат и генералов — всех воинов-христиан едва ли удалось бы Риму спасти свою шкуру и разогнать наседающих варваров. Себастиан, Пакомий, Виктор, Георгий, Мавриций, Экзуперий, Марцелл Кандид, которых Диоклетиан снял, арестовал или казнил как заядлых христиан,— разве они не были героями Рима? Вы допускаете вопиющую несправедли-

¹ Следовательно (лат.).

вость, когда обвиняете нас в предательстве. В таком случае предатель — сам Диоклетиан, который, ослепленный своей ненавистью к христианству, преследует и уничтожает тех, кто...

XXVIII. Минуточку, минуточку. Я преследую христиан не потому, что их ненавижу, а потому, что их боюсь (я сказал — боюсь). Я вижу в них единственную силу (я сказал — силу), способную подточить, разрушить и, что самое опасное, вообще смести нашу систему. Христиане теперь не кучка оборванных проповедников или подонков, о которых упоминал Цельсий¹, а налаженная упорная машина. Они сплочены, как иудеи; философы не хуже греков; упорны, как арабы; мстительны, как индийцы; терпеливы, как китайцы; и завоевывают мир, как римляне. К тому же добродетельны, подлецы, — только этого нам не хватало. Когда они долдонят: не убивай, не ври, не воруй, не блуди, не обжирайся, не ленись, не отбивай чужих жён, — они прямо тычут в лицо нашему обществу его главные пороки, которые ведут Рим к загниванию и гибели.

XXIX. Я почувал опасность раньше всех, когда услышал, что христиане стали изгонять из своих рядов аскетов-догматиков и краснобаев-утопистов, распалюющих истеричность, на которой далеко не уедешь. С догматиками и утопистами не побеждает ни одна доктрина.

XXX. Сначала я предложил им конкордат, переговоры, ибо я не был Нероном и руки у меня не чесались зря крошить людей. Я избрал в качестве базы для соглашения монотеистическую формулу Аврелиана. Я предложил выкинуть весь gang² никчемных греческих богов, насаждающих блуд и геноцид. Они уже ни к черту не годятся для теогонии и выродились в смежотворных персонажей комического театра.

XXXI. Я попытался объединить империю и слить все секты, введя культ единого избранного бога —

¹ Римский философ (II в. н. э.), ярый гонитель первых христиан.

² Шайка, банда (англ.).

Солнца или Юпитера, но наткнулся на неподатливую волю христиан: они с великим удовольствием воспринимают идею единого бога, но только если это будет их бог. Говорю вам, они — орешек твердый.

XXV. Они назначили по своему епископу в каждую мою префектуру, обосновались в каждой конторе моего имперского административного аппарата, стали внедрять свой катехизис в моих войсках, на заре крестить солдат да исповедовать центурионов.

XXVI. Когда до меня дошло, что Себастиан, трибун первой преторианской когорты, слушал проповеди понтифика — вопреки запретам своего императора; что Мавриций, командир Фиванского легиона, отказывался приносить жертвы богам, нарушая распоряжения своего высшего начальства; когда я увидел храбрейших воинов, тигров в бою, уложивших по сотне варваров каждый; когда я увидел, как они слушают дурацкий катехизис, который им приказывает: люби врага, подставь другую щеку, — я понял, что моя затея восстановить былую мощь империи в пяти шагах от гибели, потому что войско без дисциплины — не войско, войско без ярости — тоже не войско, а если Рим потеряет свои войска, *arrivederci, Roma* ¹!

XXVII. Я преследую христиан без большой веры в победу — это правда, — потому что я родился, ни во что не веря, и без всякой надежды на успех, потому что я рос, ни на что не надеясь: надежда — это первое, что теряешь в жизни. Я прекрасно знаю, что идеи, включая религиозные, хотя бы самые зачаточные, не зальешь кровью и не испугаешь смертью, и, если государственная система прибегает к физическим пыткам, чтобы поставить на колени своих противников, это значит, что она не в силах убедить их и, следовательно, не может долее существовать. Я знаю больше. Знаю, что Рим уже сыграл свою историческую роль, создал и распространил свой язык и законы, латынь и право, *sermo atque jus*, которые только и оправдывают его существование, ибо больше ничего интересного он не может предложить человечеству, за исключением своих руин, когда останутся одни руины. И я знаю также, что эти христиане, стойкие и фанатичные, самоуглубленные и

¹ Прощай, Рим (*итал.*).

дерзновенные, мрачные и неприхотливые, обязательно выполняют свою миссию могильщиков.

XXXV. Но римский император, если он действительно император, не имеет привычки сдаваться без боя. Когда придет другой властелин, более гибкий или более прагматичный, чем я, лишенный принципов, которые помешали бы ему заключить союз с христианами под их диктовку, он осквернит свой августейший лоб грязной водой крещения, даже побежденный, объявит себя победителем, он разглядит на тучах небесных знак креста, чтобы спасти себя, а заодно и смердящие останки Рима. Но он не будет зваться Диоклетианом, друзья мои.

XXXVI. Тот, кого вы видите перед собой, так не сделает, а сначала изрядно измотает христиан огнем и мечом — иначе нельзя — и только потом отречется, как обещал, от трона, скинет публично пурпурную мантию и императорские регалии, укроется в каменном восьмиугольном доме, сооруженном среди прибрежных скал Адриатики, посвятит себя выращиванию капусты и салата, которые будут служить украшением его садов и стола, и, в конце концов, навечно завалится спать на своем высоком одре из бурого камня.

XXXVII. И если, по счастью, родится второй Тацит — в чем я сильно сомневаюсь, — он напишет просто и ясно: «Диоклетиан был последним римским императором, достойным этого титула». Ну и хватит с меня, туда вашу...

Север, Севериан, Карпофор, Викторин пересекают зал пыток с высоко поднятой головой. Они решительно держат шаг, ничем не выдавая, что в горле застрял твердый ком и чуть увлажнилось в паху. Чтобы вернуть Эскулапа в лоно страданий, его храм приспособили для мучительства. Воды Тибра лижут фундамент храма, запах трав и полевых цветов витает над подиумом, аромат соснового бора смягчает суровость колонн. Эскулап, сын Аполлона, Эскулап, посвятивший свой божественный дар тяжелому делу спасения людей от боли и смерти, стоит здесь, невольно покровительствуя боли и смерти, стонам и предсмертному хрипу. Его сердце восстает против такой бесчеловечности, но разве может выразить свое негодование он, заточенный

в мрамор, со своей змеей в мраморе, с волей в мраморе, с железом в мраморе.

Север, Севериан, Карпофор, Викторин идут вдоль утыканной крюками боковой стены, железные когти которой запачканы христианской кровью; они проходят мимо кобыл для пыток, где дробятся христианские кости. В воздухе еще разлита гарь, отдающая трупным запахом, еще не развеян легким ночным ветерком чад от спаленных кишок, не заглушен смрад свежим дыханием сосен, разбавлен, но не заглушен ароматом благовоний.

Север, Севериан, Карпофор, Викторин входят на галерею храма, и там их привязывают — спинами наружу — к четырем коринфским колоннам, которые белеют во мраке. Они раздеты догола, как Прометей на скале. Руки подняты вверх, запястья скручены, рты жарко дышат в белый равнодушный камень, поясницы перехлестнуты дублеными ремнями, ноги стянуты грубой веревкой. Шесть сбиров префекта осматривают длинные бичи с тяжелыми свинчатками на концах. Среди сбиров есть одноглазый. Его глаз струит паучью жестокость, прикидывает расстояние — как ловчей содрать кожу со смертников; его рука неспешно, с вожделением подбрасывает свинчатки на ладони, со знанием дела проверяет стальную упругость бича.

— Мы даем вам последнюю возможность... — говорит начальник палачей, такой же мерзавец, как всякий истязатель.

Но слова вдруг застревают у него в горле. Волна голосов поднимается вверх по тополевой аллее, ведущей к храму, крепнет и несется вверх по широким ступеням, превращается в рев и разливается дикой какофонией под сводами храма. Диоклетиан собственной персоной, *Jovius Diocletianus*¹, воплощение Юпитера, первый среди четырех правителей, пожаловал сюда из Никомедии, сошел со своего вавилонского трона, чтобы присутствовать при последнем допросе воинов, а если говорить по правде, чтобы спасти жизнь *in articulo mortis*² этим четырем негодьям из его непобедимого войска.

¹ Диоклетиан носил имя-титул Иовий, то есть Юпитер.

² В последний момент (*лат.*).

— Numen imperatoris ¹.

Когда он идет, его подданные римляне, гражданские и военные, женщины и дети, падают ниц в неопишемом экстазе, жадно целуют складки его мантии. Диоклетиан — долговязый и широкоплечий мужчина с бычьей шеей: борода лопатой, вьется на челюстях; усы свисают вниз, как у азиатских мудрецов; глаза прищурены, но сверлят буравами; лоб разлинован морщинами, большие уши торчат, как ручки на круглом кувшине (так выглядит он на монетах и медальонах своей эпохи). В обществе ведет себя прилично, в речах — воздержан (так описывает его Шатобриан в одном из своих нудных романов).

Его одежды слепят шелком и драгоценными камнями, будто молнии сверкают в помощь четырем пленникам. Гибрид олимпийского божества и восточного идола. Вкруг его чела блестит мистическая диадема, эмблема вечности, негаснущее светлое сияние, облако солнечной пыли, dominus imperii romani ². Рубины усеивают его шевелюру, сапфиры обвивают его шею, бирюза унижает его пальцы. Широчайшая парчовая мантия, мигающая зеркальными глазками брильянтов, ниспадает радужными волнами и складками до самых его персидских туфель. Массивный золотой пояс, инкрустированный жемчугами и топазами, замыкается пряжкой на пупе. Не римский император, а витрина с Виа Кондотти ³ шествует во главе центурионов.

Диоклетиан вступает в полумрак портика, мановением руки отсылает палачей, останавливается перед четырьмя колоннами смерти и доверительно говорит только для четырех привязанных парней. Лишь легкое шевеление волос, кольцом обрамляющих его рот, выдает монолог властелина.

— Я пришел не для того, чтобы вести с вами метафизические диспуты, сыны мои, а для того, чтобы освободить вас от страшных Парок, которые уже держат вас в своих когтях. Ведь вы, как ни говори, четыре отважных римских солдата, которые могли бы

¹ Волей императора (лат.).

² Властитель Римской империи (лат.).

³ Одна из центральных аристократических улиц современного Рима.

наполнить мое сердце гордостью, если бы пролили свою кровь в сражении за родину, но душа моя разорвется на части, если кровь ваша потечет под бичами моих палачей. Я не прошу вас публично и чистосердечно отречься от вашей религии, не заставляю вас принести оленя в жертву Марсу, вместо того чтобы петь псалмы Моисея, даже не требую от вас унижительного обожения, которое приличествует моему небесному сану. Я попросту предлагаю вам вернуть себе полную свободу, не губить свои молодые жизни и для этого вознести маленькую молитву Эскулапу, всего-навсего пустопорожнюю хвалу, которая позволила бы мне оправдаться перед остальными тетрархами мой дерзкий акт милосердия. Эскулап, как вы знаете, был такой же гуманный бог, как и ваш; он ставил на ноги паралитиков и воскрешал мертвых, как и ваш; был казнен, как и ваш, за то, что творил на земле чудеса без разрешения Юпитера, иначе говоря, всемогущего бога-отца. Скажите только громким голосом «веруем в Эскулапа», а про себя думайте что хотите, хоть «веруем в Иисуса Христа», и черт с ней, со смертью,— получайте свободу. Кстати, если вас это интересует, знайте, что Марцелин, епископ, или верховный понтифик, при первом же ударе плетью запел «Аве Цезарь» и другие хвалы, принес своих барашков в жертву Плутону, отдал все свои святые книги,— дерьмо. А вы только скажите...

— Никогда,— прерывает его громовый голос Севера. Стоящая на расстоянии публики (военные, придворные, сбирь, нищие) обалдело глядит на него.

— *Jamais*¹,— говорит Севериан.

— *Never*²,— говорит Карпофор.

— Хрен тебе в глотку, император,— говорит Викторин, прекрасно сознавая, что эта злосчастная фраза будет фигурировать в качестве его последних слов в книге святых мучеников.

Диоклетиан поднимает на них свои меланхолично сверлящие глаза, цедит сквозь зубы: «Идиоты, круглые идиоты», поворачивается к ним спиной в театрально-драматическом выраже, медленно сходит вниз по сту-

¹ Никогда (*франц.*).

² Никогда (*англ.*).

пеням, придавленный роскошью своего убранства, погруженный в непоправимую тишину.

Главный палач доволен. Еще больше рад одноглазый, который не аря промаслил многочисленные ремешки бича; он было испугался, что великодушные императора испортит ему вечер. Команда взорвалась, как струя фонтана среди клумб перед заходом солнца:

— Начинай!

Благословенный Святой Рамон, рожденный при кесаревом сечении,— молится донья Консуэло,— рожденный не в нардах Марии, как наш Спаситель, а от мертвой матери, хотя смерть так же бела, как нарды; блаженный Святой Рамон, рожденный при кесаревом сечении, вышедший на берег жизни не из теплого чрева кита, как Иона, а из потухшего костра, из остывшего мотылька, что дал тебе жизнь; мученик ты наш Сятой Рамон, страдавший из-за матери, которую не знал, из-за рабов, которых ты освободил от цепей и неволи; из-за раскаленного гвоздя, которым тебе проткнули губы, чтобы губы твои не славили Иисуса Христа; из-за висячего замка, которым тебе замкнули рот, чтобы рот твой не стоил при пытках; из-за ключа от этого замка, болтавшегося языком колокольным ниже пояса иноверного правителя; из-за твоего ангела смерти, который разрешил тебе вернуться в Рим только вслед за твоими четырьмя могильщиками; чудотворный Святой Рамон, рожденный при кесаревом сечении, помоги благополучно родиться этому ребенку, о появлении на свет которого возвещают крики роженицы, как эхо трубы Иерихонской.

Да помогут травы святого Антония, великого фиванского отшельника, которые он жевал в пустыне, да помогут они этой матери избавиться от горячки и судорог; да рассеют знамена апостола Иакова, первого брата Иисуса Христа, тлетворное дыхание злых духов; да осушит, как слезы, платок Вероники всякую льющуюся кровь; да освятит чудодейственный Белый крест...— тут донья Консуэло трижды осенила воздух крестным знаменем,— ...трепещущий канал жизни; да изгонит сверкающий меч святого архангела Михаила

всех микробов; да освежит чистойшая вода Иордана эти простыни.

Милосердный Святой Рамон, рожденный при кесаревом сечении, самый милосердный из всех святых, ибо ты охраняешь существа человеческие, когда их еще и глазом не разглядишь, и мечутся они по фаллопиевым трубам, как утлые лодчонки в океане; ты, лелеющий, как восходы господни, первые шероховатости детского места; ты, ткающий нити жизни, когда сплетается чудесный шнур пуповины; ты, следящий за появлением первого пушка, и за первым «тук-тук» сердечка, и за тем, как размыкаются веки над медовыми капельками; ты, бдящий ночами, чтобы порочный свет луны не сгубил нежных лепестков творения, к тебе взываю...— тут донья Консуэло преклонила колени на цементном полу,— ...чтобы твои всемогущие персты направляли мои грубые руки, чтобы ты озарил своей благословенной улыбкой первый след нового человека, чтобы с твоей помощью на землю пришел ребенок, здоровый телом и добрый душой, верующий в господа бога нашего, в белую розу, которая освятила Спасителя, и в святое древо, под которым Спаситель наш умер. Аминь.

Никто не считает ударов, число их перевалило за двести, да и не в цифре дело; никто их не считает, потому что приговор трибунала был туманным и безжалостным: «пока не отрекутся от своей веры», «пока не принесут жертву богам». А палачи глубоко убеждены (достаточно взглянуть им в глаза), что Север, Севериан, Карпофор, Викторин умрут, прикусив языки, превратившись в кровавый студень под сенью своего Евангелия. Холуй Спиеон Подлеций, навечно ставший шпиоком-специалистом по розыскам христиан, по унижительным допросам христиан, шныряет змеиной тенью у подножий колонн, чтобы, в случае надобности, ускорить наступление смертного часа. Но Спиеон Подлеций остерегается приблизить свою физиономию к Викторину на расстояние плевка, который Викторин для него давно приберег.

Плети-свинчатки рвут тело когтями, ранят кинжалами, дробят дубинами. Ягодицы и спины — это теперь гряды красных анемонов, сплетения кораллов, несохну-

пчая кровавая роса, клочья кожи и сухожилий, сплошная рваная рана. Властный голос снова прерывает истязание и задает чисто формальный вопрос:

— Вы отрекаетесь от ваших иудейских выдумок и сказок? Возвращаетесь в лоно римских богов? .

Север не отвечает, потому что он уже мертв. Севериан — тоже, потому что он при последнем издыхании, и Карпофор — тоже, потому что он потерял дар речи, и Викторин — потому что он начал слышать, вдыхать и видеть спектакль, недоступный пониманию его палачей. Музыка смерти — это дымка звуков, которая поднимается над величественным шумом реки, шевелит волосы между густыми вязами, ласкает босые ноги влажным мрамором и затихает спиралью птичьей песни вокруг сердца Викторина. Аромат смерти — это нескончаемый легкий дождь, частое дыхание небесных лилий, невесомые крылья архангелов и мерцание вечерних звезд, которые начинают благоухать анисом и розмарином, угасая в глазах Викторина. Ангел смерти, его профиль — тот, незабываемый профиль Филомены из катакомб, ангел смерти взлетает чуть выше любви и блаженства, чтобы облегчить поцелуями агонию Викторина.

Север, Севериан, Карпофор и Викторин окончили свое земное существование. Ночь, запуганная кровавыми миражами, прячется среди римских холмов, чтобы выплакаться мутными ручьями, стряхнуть светлячковые слезы. Собаки бродят привидениями, обнюхивают лунный пепел, воют, чуя бандитов. На террасе императорского дворца внезапно гаснет лампа.

Святая Либерата, ты явилась на свет...— молится донья Консуэло, и Мама забывает о родовых схватках, слушая ее; донья Консуэло молится, скорчившись, почти растворившись в темном углу каморки, — *...ты явилась на свет в розовом соцветии твоих восьми сестер: девять козочек, бежавших из ночи, девять португалочек, рожденных, чтобы погибнуть в голубом сиянии мученичества...*

В эту самую минуту Мать едет в родильный дом в такси, которое сотрясает гудками улицу Сан-Мартин. Ее муж, Хуан Рамиро Пердомо, с забавной торжест-

венностью восседает рядом с ней. Мать чувствует, как боль начинается где-то у позвоночника, пауком сжимает поясницу и стальной иглой протыкает живот. Мне очень больно, Хуан Рамиро, говорит она. Потерпи немного, сейчас приедем, говорит он. Шофер чувствует себя лицом первостепенной важности, как оно, впрочем, и есть, а потому — надо ли, не надо — всюду давит на клаксон.

И в эту же самую минуту Мамочка звонит по телефону доктору Карвахалу. Я чувствую приближение родов, дорогой друг, говорит она. Приезжайте в клинику, отвечает он, и Мамочка начинает прихорашиваться, заслонив зеркалом боль — до поры до времени. Она подкрашивает брови и ресницы, крошит себя духами, выбирает халатики — на каждый день разный: ведь столько приятельниц придет ее навещать. Мамочка никогда не теряет присутствия духа, и, кроме всего прочего, у нее есть крепкая опора в доме — ее мать, донья Аделаида, верховный главнокомандующий, глас немалого жизненного опыта. Она укладывает чемодан, помогает Мамочке спуститься вниз по лестнице. Инженер Архимиро Перальта Эредия просто в восхищении: какая расторопная у меня теща, говорит он.

Кальсия, твоя мать, звериная душа в черном бархатном наряде... — продолжает молиться донья Консуэло. Донья Консуэло знает, что для соседок роды Мамы — как религиозная церемония, и чувствует, что все они сидят в настороженном ожидании там, за стеной. Донья Консуэло взяла себе в помощницы только одну родственницу Мамы, пришедшую навестить Маму, и отдает ей короткие приказы: принеси газеты, принеси жаровню, принеси сальную свечу, а сама бормочет: — Кальсия отвела дочек, повелев их умертвить, к повитухе Силе, простой женщине, такой же, как я, господи боже, к такой же христианке, как я, господи боже. Но как можно дать им яд, этим белоснежным куколкам. Любви и молока просят они, как милости; любви и молока дали им, как ты, господи, учишь, и в сени ног твоих они вздохнули свободно, и стали послушницами в монастыре, затерянном среди кипарисов, где пасутся одни олени...

В это время Мать проходит через несколько металлических дверей, мимо ряда белых перегородок. Хуана

Рамиро Пердомо не пускают дальше приемного покоя. Дальше пациентка должна идти одна, говорят ему. Пациентка — это Мать, измученная схватками, которые то накатывают, то отступают. Матери задают несколько вопросов, заполняют карточку и затем просят раздеться. Мы отдадим одежду вашему мужу, говорят ей. Она получает короткий, до колен, халат, грубый выцветший халат; ее кладут на больничную каталку и прикрывают простыней.

И в это же время Мамочка торжественно является в клинику — со своими двумя чемоданами, со своим супругом и со своей родительницей. Добрый день, Домитила, говорит Мамочка. Акушерка Домитила встречает ее, услужливо склонившись; Домитила сопровождает ее в отдельную палату, такую же, как все остальные палаты в этой клинике, одинаковые, как каюты на пароходе или кельи монахов. Мамочка распластывается на кровати с помощью Домитилы. Только перед Домитилой отступает авторитет доньи Аделаиды. Домитила приняла столько родов, у нее такая интуиция! Она ловко раздевает Мамочку и идет предупредить доктора Карвахала: все может начаться скорее, чем это представляют себе донья Аделаида и Мамочка.

Непорочная Святая Либерата, ты уже считала себя Христовой невестой...— Донья Консуэло распорядилась вскипятить воду в жестянке, приказала выгладить простыни, чтобы жаром припечь всех микробов; приказала запереть двери и заткнуть щели в створках; донья Консуэло не желает впускать свет снаружи, не хочет свежего воздуха.—...невестой, когда вдруг загремели дверные кольца, вошел Люций, твой отец, властелин-язычник — глаза хитрые, звериные, душа змеиная,— и приказывает своим девяти дочерям осквернить чистоту причастия. Но они предпочитают умереть в пытках. И возносятся на небо твои восемь сестер-монашек, восемь душ из прозрачного стекла, восемь тел из нежного маиса; там встречают их ангелы гимнами, благоухающими, как фиалки...

Мать привезли на каталке в длинную палату. Там лежат шесть женщин на кроватях с зелеными матрацами — шесть лиц, сведенных судорогой страданий. Одна, мулатка, молча, из последних сил, выдавливает из себя четвертого сына; пятеро других орут благим

матом, особенно итальянка: *Mamma mia, Dio mio, Non ne posso più, Non se la faccio più*¹. Соседка, доставшая Матери, выражается более прозаично: «Ох, зараза! Ох, и влипла же я! Ох...» — и, бледная, стискивает пальцами спинку кровати.

Теперь Мамочка едет на хорошо смазанных колесах в залу для родов. Супруг, инженер Архимиро Перальта Эредия, на прощание вдохновляет ее изящной улыбкой. Вполне достаточно одного раза, думает Мамочка. Мужчинам не мешало бы самим попробовать, чтобы знать, каково это удовольствие, думает Мамочка, одетая в прелестную розовую сорочку. Дева Мария, во имя мук, испытанных тобою при родах, не оставь меня в тяжелую минуту, говорит вслух Мамочка, когда ее кресло пересекает порог операционной. Доктор Карвахаль ожидает ее в безупречно чистом халате и в белых резиновых перчатках.

А тебя, Святая Либерата, самую красивую... — молится донья Консуэло... Она кладет Маму поперек кровати, под ноги ставит табуретку, а под матрац подсовывает газеты. Мама согнула колени и раздвинула ноги, донья Консуэло подмыла ее водой с кастильским мылом и продолжает ждать и молиться. Ждать и молиться — это дело всех настоящих повитух: —...Тебя, сладкий цветочек, вместо того чтобы предать спасительной смерти, тебя пожелали отдать в жены королю сицилийскому, который с пьяным хохотом стал высмеивать твое целомудрие, и тогда ты, неприступная дева, упала на колени, прямо на бульжники, воздела к небу руки и стала молить: «Иисус, супруг мой, сделай так, чтобы на лице моем отросла борода, чтобы вокруг губ моих выросли усы, чтобы между белых грудей моих появились волосы, жесткие, как конский хвост, чтобы ноги мои покрылись темной шерстью, как у земляница, чтобы король сицилийский от меня отказался, чтобы его свирепость не угрожала моей девственности...»

Что касается Матери, то она уже вскарабкалась на операционный стол; студент и медицинская сестра помогли ей поднять ноги и положить их на две широкие металлические скобы. Она ярко освещена обычной лам-

¹ Мамочка, боже мой, я больше не могу, больше этого не сделаю (итал.).

пой без абажура, свисающей с потолка. Всякий раз, как начинаются схватки, Мать напряженно сжимает холодные поручни. Медицинская сестра смазывает ей там, где положено, какой-то жидкостью, наскоро сделав помазок из ваты. Мать сгибает ноги и упирает их в железные педали, торчащие откуда-то снизу. Порядок, говорит студент последнего курса, ошупав ее. Скоро начнется.

Что касается Мамочки, то она лежит в такой же позе, как и Мать, с раскинутыми ногами и освещенным животом, но операционный кабинет попросторнее и белоснежные простыни потоньше. Движения доктора Карвахалья размеренны и непринужденны. У Мамочки вдруг начало сводить ноги от неудобного положения. Домитила, будьте добры, разотрите мне их, говорит Мамочка. У Мамочки усиливаются боли. Силы мои иссякают, доктор, говорит Мамочка. Показывается головка ребенка. Берите forceps¹, Карвахаль, мне все равно, я больше не могу, кричит Мамочка. Впервые Мамочка утрачивает самообладание. Доктор Карвахаль улыбается, уверенный в себе и в законах природы, улыбается под марлей, прикрывающей его рот.

И когда господь услышал твою мольбу...— бормочет донья Консуэло и выходит из своего угла — наступает момент, когда надо выйти из угла.— Тужься, не бойся,— громко говорит донья Консуэло. Волосенки маленького негра уже различаются в крови и густых водах; странный запах наполняет каморку, нет, не противный, но тяжелый и тревожный. Плечики плода сами поворачиваются в поисках выхода, и донье Консуэло остается только принять ребенка и молиться: — *...И случилось чудо, и на всем твоём теле выросла щетина, лилия превратилась в дикобраза, и король сицилийский галопом удрал из Опорто в Палермо. И твой отец повелел своим наемным убийцам пригвоздить тебя к дереву...*

Наступила минута, когда и студент пятого курса решительно шагнул к Матери. Тужьтесь, сеньора, тужьтесь, говорит бакалавр; сестра тоже говорит — тужьтесь. Мать тужится изо всех сил, бакалавр направляет головку ребенка в его поворотах; вот он уже

¹ Щипцы (англ.).

держит новорожденного за ноги в вытянутой руке — так фокусник в цирке держит за уши кролика, — зажимает пинцетом пуповину и берет ножницы у сестры. Парень, говорит сестра. Какое имя ему дадите? — спрашивает сестра. Викторино, сегодня день святого Викторина, отвечает Мать не очень уверенно.

Случилось так, что в эту же самую минуту доктор Карвахаль тоже поднял в воздух ребенка Мамочки, тоже как кролика в цирке, после того, как Мамочка тоже изо всех сил поднатужилась. Доктор Карвахаль одним точным движением отсекает пуповину. Мальчик, говорит доктор Карвахаль, и передает его Домитиле; имя ему даст позже донья Аделаида. Здоровый мальчуган, говорит акушерка. Пусть его оденут в голубое, моего милашечку, говорит Мамочка, спокойная как никогда.

Тебя, Святая Либерата... — все еще молится донья Консуэло и обтирает спиртом тельце ребенка, хлопает его по попке, чтобы он вздохнул и заплакал; залепляет пластырем ранку на пупке, сыплет на него немного порошка, обваливает в ликоподии, закатывает в пеленку, словно свертывает сигарку из табачного листа, кладет в ящик из-под мыла марки «Лас Льявес». Он уже пищит, бродяга, говорит Мама. — ...тебя, святая Либерата, гибнущая роза на вершине столба, тебя, волосатая святая Либерата с чистым девичьим чревом, которое не ведало ни страсти, ни оплодотворения, тебя, спасительница женщин от их страданий, ибо ни одна из них не мучилась от земных пыток так, как ты, распятая на мученическом кресте, тебя слезно прошу я о помощи, чтобы сумела и смогла я сейчас охранить новорожденного от судорог и мать от лихорадки — ведь смогла же Святая Сила, повитуха, как и я, христианка, как и я, сохранить и тебя, и твоих восьмерых сестриц, аминь.

Мать еще пребывает в неподвижности, еще лежит, прикрытая одеялом, на больничной каталке, а сестра уже кладет Викторино на длинный стол, где лежат другие новорожденные, протирает его спиртом и парафином, чтобы смыть розовую слизь, привязывает ему на запястье бирку с именем Матери, написанным чернилами; смазывает лекарством пупок, берет оттиски пальцев, обмеривает от затылка до пят, вводит раствор

нитрата серебра в глаза, закутывает в белые пеленки и, наконец, укладывает в четырехугольную колыбель вместе с другим младенцем, который родился на четверть часа раньше,— это сын итальянки, завывающий так же театрально, как его родительница. Викторино, лежащий рядом, шевелит ручками и ведет себя очень сдержанно.

Мамочка тоже хочет увидеть своего сына. Он блондин и весит три кило двести. Доктор Карвахаль проверяет ему глаза, осматривает пальцы на руках и ногах, глядит на пупку и на гулик. Великолепный ребенок, говорит доктор Карвахаль и заставляет его сделать первый вздох. Акушерка Домитила тщательно занимается его пупком. Мамочка на колеснице-каталке триумфально въезжает в свою отдельную палату. Инженер Архимиро Перальта Эредия не может прийти в себя от гордости, узнав, что родился мальчик, просто не может прийти в себя от гордости. Через полчаса начнут поступать букеты цветов. Имя ему — Викторино, говорит донья Аделаида.

Сегодня 8-е ноября 1948 года; конечно, воскресенье. Весь город с нетерпением ждет появления первых автомашин, участвующих в гонках Буэнос-Айрес — Каракас. Тысячи людей мельтешат на улицах пригорода.

КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ВОЙСКА КИТАЯ ЗАНЯЛИ МАНЬЧЖУРИЮ

и находятся менее чем в 200 милях от столицы Чан Кай-ши, Нанкин тоже падет. На финансовых операциях отражаются неизбежные последствия этой войны. Североамериканские коммерсанты прикрывают свои магазины в Бейпине. Присуждены Нобелевские премии за 1948 год: премию по литературе получил поэт Т. С. Элиот, да ему уж и пора было войти в историю, хотя *History may be servitude, History may be freedom*¹; а по медицине — швейцарский ученый Пауль Мюллер, изобретатель ДДТ: Ирод для москитов, Аттила для комаров, воистину достойный представитель своей мирной страны.

¹ История может быть рабством, история может быть свободой (англ.).

ПЯТЬДЕСЯТ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

предоставит вашингтонский Экспортно-Импортный банк венесуэльскому правительству

ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ ПРОСПЕКТА БОЛИВАРА,

какой удивительно великодушный народ! Все три этапа лидировал Оскар Гальвес, по прозвищу Ястребок. Его победа — дело решенное, ему остается только триумфально финишировать в Каракасе; от своего ближайшего соперника он оторвался на огромную дистанцию. Профессиональные политики не перестают ломать голову над неожиданной победой Гарри Трумэна, объехавшего Томаса Дьюи на президентских выборах у гринго. Вся пресса делала ставку на Дьюи, все опросы мистера Гэллопа предсказывали Дьюи километровое преимущество, однако

ПОБЕДИЛ ТРУМЭН,

а почему победил Трумэн? Одного французского инженера задержали на площади Боливара в женской одежде, он даже не забыл надеть дамские панталоны и бюстгальтер. На вопрос полиции ответил: «Одно и то же надоедает. Всю жизнь таскать брюки! Скука смертная!» Ходят грязные слухи

О ВОЕННОМ ЗАГОВОРЕ ПРОТИВ ПРЕЗИДЕНТА ГАЛЬЕГОСА¹,

о том, что скомпрометированный министр обороны, полностью скомпрометированный генеральный штаб, военный атташе посольства Соединенных Штатов (полковник Адамс) нанесли дружественный визит в казармы офицеров-заговорщиков (мистеру Дэнджеру, Перналете, Мухиките — колоритным бандитам, ждущим своего бытописателя). Сообщается о прибытии Уолдо Фрэнка, который приезжает написать книгу о венесуэльском

¹ Ромуло Гальегос — выдающийся венесуэльский писатель-демократ, был избран в 1948 г. президентом республики, свергнут в том же году империалистическими кругами США.

народе в свете идей Боливара. Хватит ли у него на это времени? Конь Академик, сын Синдбада, взял в Буэнос-Айресе традиционный приз «Карлос Пеллегрини»; жокей — Иринео Легисамо, ура Легисамо! Многих поклонников ты теряешь, Гардель¹.

МАРШАЛ ТИМОШЕНКО ПРОИЗНЕС ВЧЕРА РЕЧЬ

на праздновании годовщины русской революции, он сказал: «Силы мира никогда не позволят развязать новую войну». В США у целого стада быков породы «Геррефорд» (они находились под прикрытием высоких гор за многие мили от испытательного взрыва атомной бомбы более трех лет тому назад, точнее — в июле 1945) побелела шкура, а затем стали отваливаться клочья шерсти, как сухие листья. Их отвезли на необитаемые острова, у многих по хребту расплозились язвы; полагают, что их съедает рак. За течением болезни наблюдают с самолетов в подзорные трубы.

ПРИНЦЕССА ЕЛИЗАВЕТА ОЖИДАЕТ НАСЛЕДНИКА,

который родится на этой неделе, самое позднее в субботу. Букингемский дворец расцвечен улыбками и хризантемами, разукрашенная голубым атласом колыбель любовно выставлена в детской комнате напоказ.

Толпа затрудила въезд в Каракас — более ста тысяч человек; сто тысяч человек отважно подставляют затылки под жаркие солнечные залпы, они взбесятся от радости, когда появится «форд» гонщика Ястребка Гальвеса. Кстати говоря, мистер Дж. Парнелл Томас, сенатор-республиканец от Нью-Джерси, президент Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, — Великий инквизитор, как его называют, — обвиняется в попытках нанести ущерб правительству Соединенных Штатов вместе со своей экс-секретаршей Эллен Кэмпбелл; они могут быть приговорены к 32 годам тюрьмы или 40 000 долларов штрафа — уму непопостижимая неблагодарность. Мистер Гэллоп пристыжен,

¹ Карлос Гардель — известный исполнитель аргентинских танго в 30-х годах.

как квакер, которого накрыли у дверей борделя, мистер Гэллоп ошеломлен полным крахом своих предвыборных вещаний, а публика всласть над ним издевается, стряхивая пыль с длиннобородых анекдотов: Наполеон (или, возможно, Дизраэли?) различал три вида лжи: обыденную, клятвопреступную и статистическую; корсиканец (или тот еврей?) прибегал ко всем трем. Оскар Гальвес, Ястребок, едва ли не причисленный к лику святых народным идолопоклонством, несетя красным вихрем по Валенсии; Ястребок летит к финишу. Начинается ливень, свинцовые капли болельщикам ничем. В толпе говорят о том, что

ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ НЕИЗБЕЖЕН,

хотя писатель и президент республики Ромуло Гальгос успокоительно заявляет прессе: «Венесуэла находится в процессе подъема и укрепления демократии». А Марио Брисеньо Ирагорри, тоже писатель, оценивает обстановку иначе: «Венесуэла — жертва борьбы между бензином и фуражом». В кинотеатрах показывают «Lassie, come home»¹ с участием многообещающей дебютантки по имени Элизабет Тейлор, а также «The Senator was indiscret»² с киноветераном Уильямом Поуэллом, хотя несравненно более будоражит реклама картины «Девятый»; в кинотеатр «Аполлон» едва ли можно попасть; дети до 18 лет не допускаются, реклама гласит следующее: «Мужчины ее преследуют. Они ее хотят! Когда я иду по улице, они глазуют на меня так, будто я голая. Господи боже, что во мне такого? Почему мужчины кидаются на меня, как голодные звери? Потому что им не жалко живых! Они уважают только мертвых!»

ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ ПОЛУЧИЛ БОЛЬШИНСТВО ГОЛОСОВ

на выборах в верхнюю палату, девяносто девять мест; два министра вышли в отставку, правительство еле

¹ «Лесси, иди домой» (англ.), популярный голливудский фильм с собакой в заглавной роли.

² «Сенатор был нескромен» (англ.).

держится, генерал не представил конкретной программы. Известно только — это и понятно, — что она не прокоммунистическая. Своей победой он обязан неустойчивости французских гражданских правительств, которые низвергаются каждые две недели, «merde alors»¹, народ сыт этим по горло. Оскар Гальвес слышит, как начинает тарыхтеть мотор его машины на последних участках пути; перебои слышались еще вблизи Буэнос-Айреса. И вот красный «форд» внезапно останавливается, подвели шатуны: тринадцать этапов гонщик лидировал, но подвели проклятые шатуны, расплавились вклады, когда до финиша уже рукой подать. Мимо несутся автомашины, и снова автомашины; никто не затормозит, никто не выручит. Ястребку теперь на... на шатуны. Нежданный триумф Трумэна вызвал

НЕСЛЫХАННОЕ ПАДЕНИЕ КУРСА АКЦИЙ НА БИРЖЕ,

какое не было зарегистрировано с 1940 года. В то же время прогрессивная интеллигенция оценивает избрание Трумэна как поражение военщины и расистов, forget Hiroshima, boys!² Северное сопрано Кирстен Флагстад цела в «Тристане и Изольде» на сцене Муниципального театра, теперь афиши возвещают о гастролях балета Алисии Алонсо — кубинская балерина исполнит партию Жизели. Утверждают, что военные заговорщики представили список требований автору «Донья Барбары»³, букет политических вымогательств, военный ультиматум, а писатель отверг их не читая — он же президент, а не половая тряпка. Какой-то «бьюик» с номером штата Карабобо, ленивый прогулочный драндулет, помог Оскару Гальвесу в беде, взял его на буксир и потащил по извилистой дороге от Гуайяс, хотя

ЭТО НЕЛЕГАЛЬНОЕ СОДЕЙСТВИЕ

не будет зачтено судьями, к великому разочарованию толпы, уже провозгласившей Гальвеса победителем.

¹ Черт подери (франц.).

² Забудьте Хиросиму, ребята (англ.).

³ Имеется в виду Ромулю Гальгос.

Сотый раз громкоговорители трубят: машина приближается! И тысячи глаз впиваются в даль — где же «форд» Ястребка?

ЧАН КАЙ-ШИ ЗАЯВИЛ, ЧТО ОН ГОТОВ

продержаться еще десять лет. Вашингтон знает, что это ложь, война проиграна. Художник-самоучка из Найгуата, негритенок по имени Фелисиано Карвальо¹, объявляет об открытии своей первой выставки. Это такая же сенсация, как в свое время выставка Таможенника Руссо, комментирует критикесса Фифа Лискано; будет и музыка; посетители, завязав себе глаза, получают право разбить в свое удовольствие два больших горшка, изготовленных и раскрашенных самим Фелисиано. Греческое правительство официально объявляет, что оно расстреляло всего лишь две тысячи человек в назидаение партизанам, опровергая необоснованно раздутую цифру казненных и отменяя провокационные преувеличения.

ЧИСЛО РАССТРЕЛЯННЫХ НЕ ПРЕВЫШАЕТ ДВУХ ТЫСЯЧ,

настаивает правительство с подкупающей скромностью. Деквалифицированный гонщик Оскар Гальвес занял первое место, но

ПРИЗ ГОНОК ПРИСУЖДЕН ДОМИНГО МАРИМОНУ,

тоже аргентинцу, но звезде отнюдь не первой величины, — насквозь, до коричневых ногтей прокуренному толстяку, забулдыге и пустозвону. Ему не терпится выпить пива. Поистине величайшее разочарование для двухсот тысяч человек, которые встали чуть свет в предвкушении чествования Ястребка.

¹ Современный венесуэльский художник.

ПАДЕНИЕ РОМУЛО ГАЛЬЕГОСА — ВОПРОС НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ,

а может быть, и часов. Дети обсуждают это на переменках, играя в чехарду, военные полны решимости приструнить народ, если кто-нибудь этому воспротивится. Но никто не противится, политические партии грызутся между собой, никто ни о чем не думает, кроме собственной выгоды. Оскар Гальвес яростно протестует против мнения судей, лишивших его победы. Но, че¹, о чем тут толковать, если тебя тащили на буксире, изрекает толстый Маримон без капли злорадства. И тогда Ястребок расталкивает взволнованную до глубины души толпу, медленно идет к статуе генерала Сан-Мартина (в десяти метрах от финиша) и плачет горькими слезами у ног своего Освободителя².

Повторяю, сегодня 8-е ноября 1948 года. Донья Консуэло врывается в кабачок португальца Жоана Франсишку ди Соузы, открытый, несмотря на воскресенье. Единственный клиент — Педро Коното, собственно говоря, не настоящий клиент, а вынужденный посетитель, охотящийся за какой-нибудь старой девой, которая купила бы у него попугайчика, а попросту сказать, бродяга, спасающийся от солнечного пекла. Озорные мальчишки кричат ему в открытую дверь: «У Педро Коното видать что-то!» А он им в ответ: «Твою мать не видать, а взять, да...». Донья Консуэло пришла купить сальную свечку, необходимую принадлежность при родах, которые она принимает домов через пять отсюда, и бутылку каньи, тростниковой водки, — без этого лекарства тоже не обойтись, малыш уже недалеко, Мама кричит каждые три минуты: «Ай, меня разорвет! Ой, я сейчас лопну! Помоги мне, святой Петр Ключник!!!» Донья Консуэло снует между грудями мешков с рисом и ящиками с прохладительными напитками, пробираясь к португальцу, излагает

¹ Обращение в разговорной речи аргентинцев.

² Генерал Хосе де Сан-Мартин (1778—1850) — национальный герой Аргентины, возглавивший освободительную войну народов юга Латинской Америки в первые десятилетия XIX в.

свою просьбу, не удастая взглядом ни Педро Коното, ни его попугая. Затем решительно направляется в глубь кабачка. Там на дочерна закопченной стене выделяется белый четырехугольник — календарь, который она и раньше часто листала. Донья Консуэло различает слово «ноябрь», написанное толстыми буквами, и огромную черную восьмерку, еще более отчетливую, и слово «воскресенье», подчеркнутое красным. А вот имена святых, крохотные имена-москиты, очень трудно разобрать — ишь ведь незадача. Донья Консуэло шагнула далеко за пятьдесят, но очков не носит; ей приходится почти уткнуться носом в лист календаря, чтобы с трудом разобрать:

Святые Север, Севериан, Карпофор и Викторин, четыре мученика, приобщенные к лику святых.

— Север не подойдет, Севериан и Карпофор тоже не годятся, — говорит донья Консуэло и, произнося эти слова, выразительно отмахивается, будто торгуется с Жоаном Франшишку ди Соузой. — Если родится мальчик, в лепешку разобьюсь, а назовут его Викторино.



**Сегодня
Викторино
исполнилось
18 лет**

ВИКТОРИНО ПЕРЕС

Сейчас ровно четыре часа утра. Викторино знает это с абсолютной точностью, хотя у него нет часов и он не может слышать приглушенный металлический звон колокола. Черная капель ночи стучала в такт его пульсу, словно его кровь наполняла колбу, из которой сочились минуты; словно удары его сердца толкали маятник, качавшийся в тишине; словно его нервы червями скрутились в пружину, которая регулирует ход стрелок.

В этой тюрьме нет ни одного заключенного, ни одного служителя, который не помог бы ему, если бы состоялся его побег, **ДЕРЗКИЙ ПОБЕГ ВИКТОРИНО ПЕРЕСА, ВРАГА № 1 НАШЕГО ОБЩЕСТВА**, так будет написано в газетах. Два педераста, которые спят в открытом патио (их не решились засунуть в камеру — одинаково опасно оставить их в компании мужчин и в компании женщин), затеяют драку ровно в 4 часа 30 минут — у одного из них сохранились наручные часы, которые он сумел припрятать при обыске, — просто чудо под стать Христову! Охранники побегут разнимать их, водворять тишину и утверждать свою власть — за это и платят им грязные деньги палачей. В тот же момент раздастся дикий крик четырех нимф, которых заперли в заднюю каталажку и которых приволокли в мужскую тюрьму из-за того, что они нарушали общественный порядок и одна из них всадила нож в живот официанту кабака «Вагон» (во время допроса из них не могли вытянуть ни единого слова; молчали, хоть умри; так и осталось тайной — которая все же пырнула ножом покойника). Охранник бросится, изрыгая проклятия, узнать, в чем дело, обругать женщин, показать им почем

фунт лиха. В это время Викторино должен покинуть свою камеру, прошмыгнуть по-кошачьи в камеру напротив — там находятся в строгой изоляции шесть малолетних преступников после нападения на аптеку. А они уже взломают замок над дверью, чтобы впустить его, пробьют брешь в потолке, затратив на это ночь адской работы. Поднимаясь, как по ступеням, по скрещенным рукам, потом по плечам шести малолетних, Викторино доберется до дыры в потолке, через которую вольется рассвет. *Все остальное зависит от моей смекалки, от быстроты моих ног, от моей лихости, от крепости моих мускулов, от дерзкого плана, который созрел без чьей-либо помощи в башке Викторино Переса, самого смелого и самого отчаянного парня города Каракаса, столицы республики и колыбели Освободителя*¹, — это значит у меня.

В 4 часа 25 минут приглушенные стоны Викторино будят охранника, который, закутавшись в рыжий плащ, сонно клюет носом. Он поднимается со своего кожаного стула и приближается, волоча ноги, злой и раздраженный — не дают спать полиции.

— Тебе чего, вшивый негр?

Под его взглядом Викторино начинает корчиться, как женщина при родах, хватается обеими руками за живот и строит зверские гримасы. Помираю, хрипит он. Действительно, он кончается по всем правилам: глаза стекленеют, на губах вскипает пена. Но ему мало разыгрывать агонию — резким, пронзительным визгом, визгом свиньи, которую переехал грузовик, Викторино пугает и вызывает любопытство охранника (недостаточно его испугать, необходимо, чтобы он открыл ключом замок, а ключ висит у него на поясе). Припадок все усиливается, страшные конвульсии дергают руки и ноги арестанта, его тело бьется о кирпичный пол камеры. Охранник открывает замок ровно в 4 часа 30 минут.

— Бандитка, сукина дочка, я тебе зубы вышибу, стукачка, предательница! — орет Огненная Роза, педераст, уродливее которого еще никого не создал сам

¹ Имеется в виду герой эпохи освобождения Венесуэлы от испанского ига Симон Боливар (1783—1830).

господь-бог: борода рыжая, как кукуруза, нос красный, как морковь.

— Попробуй тронь меня, я тебе глаза выпарапаю, зараза! — отвечает диким воплем Детка Исабель, другой такой же экземпляр, и взаправду украшает зеленым плевком лоб дружка.

Охранник колеблется секунды две, порывается снова запереть замок, но ему преграждает путь тело Викторино, содрогающееся в конвульсиях, — грудь в камере, а ноги снаружи, молотят пол, как взбесившиеся поршни. Охранник оставляет его помирать — не такое уж важное дело — и спешит, расвирепевший, утихомирить скандал двух горлопанов, погрязших в содомском грехе. Он бежит к ним со старой винтовкой наперевес и тут же, не глядя, начинает лупить прикладом по разгоряченным головам обоих гладиаторов.

Теперь дело за другими. В темноте дальней камеры начинается катавасия среди проституток — громко-голосый квартет, в котором не разобрать ни слова, потому что все четыре выкрикивают в унисон нескончаемый перечень названий, собранных на кривой жизненной дорожке, названий нескромных частей человеческого тела и того, что связано с половым актом или естественными отправлениями. Их крики, как гнилые лимоны, шмякаются о стены тюрьмы. Жандарм в ярости потрясает кулаками:

— Замолчите, шлюхи, так вас растак...

И, оставив на произвол судьбы склочных педерастов, устремляется на остервеневших баб, непрерывно издавая призывный свист. Ему на подмогу бегут еще четыре охранника — заткнуть арестанткам рты полотенцами и отдубасить пашками. Пять дюжих тюремщиков сообща обрушиваются на беззащитных магдалин.

Этот последний скорбный эпизод остается уже вне поля зрения Викторино.

После первого вопля Огненной Розы он прекращает свои притворные конвульсии, четырьмя беличьими прыжками преодолевает коридор, который его отделяет от камеры малолетних, молнией проскальзывает в заранее отпертую дверь и с лета грохается на руки шестерых, которые ждут его, неподвижно и настороженно vastы, как акробаты в цирке.

Викторино, ни секунды не колеблясь, опирается ногой на стремя из сплетенных рук этих парней из «детской» камеры. Неведомая сила подбрасывает его на плечи двух самых высоких, в следующем прыжке он хватается правой рукой за выступ стропила, который пощадили острые пилки заключенных; левой рукой, раскачиваясь, как обезьяна, цепляется за другой выступ этого же стропила; кулаки малолетних сообщников толкнули его пятки, и Викторино, как тюк, подцепленный подъемным краном, летит вверх. Его голова, проскользнув сквозь дыру оштукатуренного потолка, вырывается в отверстие на светлой, мокрой от дождя крыше. Его плечи проделывают тот же путь, и он оказывается на воле.

Одним махом он поднимает торс на черепичный скат крыши, гибким движением подтягивает нижнюю часть тела. Теперь он весь наверху. Кривизна дождевых труб облегчает ему мягкое скольжение к краю навеса, навес вдается в темноту безлюдного переулка. При прыжке на землю подвертывается нога. Больно или не больно — в этом он разберется позже. Он бежит, петляя, по переулку, чтобы не подставить спину под пулю, — жокей, скачущий на призрачном коне. Его зигзагообразный бег направлен к зарослям, которые окаймляют течение реки. Сзади грохочет выстрел, а может быть, целый залп.

Придется подождать до вечера, чтобы узнать судьбу (он услышит это по радио) двух малолетних, которые хотели удрать вместе с ним, используя ту же самую лестницу из рук и плечей, тот же самый пролом в крыше, румяной от рассвета и скользкой от росы. Первому удалось выбраться вслед за Викторино, второму не повезло. Под тяжестью второго обломилась каменная кладка, поврежденная палками и пилами, и он с шумом свалился на кирпичный пол камеры под ноги охранников, которые в эту минуту ворвались туда, чертыхаясь. Что касается первого, который в точности повторил все приемы Викторино, он бежал, задыхаясь, вслед за ним на расстоянии метров десяти. Однако прямо под ребро ему вонзился горячий свинец пули, и беглец остался лежать, зацепленный кровавым якорем за грудь (так он будет изображен на последней странице вечерней газеты), на голых камнях переулка.

Во главе кортежа, чуть возвышаясь над землей, словно катился на восьми маленьких шариках сухой труп паука. Катафалк, а вместе с ним похоронное шествие пробрались по узким проходам между маисовыми листьями, перелезли через Кордильеры кирпичей, миновали кучу битого стекла, форсировали гнилые лужи, перешли вброд мутные ручейки. Не все участники шествия тащились налегке — самые крупные несли маленькие листья, а кто поменьше — мертвых мух, зерна вареного риса.

Вдруг авангард замер перед темной стеной, которая выросла на его пути. Правая нога мальчишки, присутствие и запах человека повергли в отчаяние путников. Они осторожно опустили своего покойника на землю и беспорядочной толпой собрались вокруг него на срочное совещание. Трое или четверо замыкающих шествие устремились вперед, чтобы успеть внести свою лепту в переговоры. Наконец совет старейшин решил, что надо обойти препятствие, но продолжать стремиться к намеченной цели, то есть двигаться по намеченному пути к гостеприимной расщелине в земле, которая ведет в пещеру. Они свернули дюймов на пять к западу, прибегнув к обманному маневру. Мальчишка застыл в неподвижности, словно бы и не глядя на муравьев, которые видели только огромную черную стену. Однако, когда они уже полагали, что избежали опасности, когда процессия свернула чуть-чуть на север, нога опять подалась вперед, и снова темная стена неожиданно закрыла путь каравану, и снова началась оживленная дискуссия около башмака, испуганно подбежали отставшие советники, решили изменить свой путь, но идти к цели, удалившись немного от этого живого утеса, обогнув порожек, на котором сидел Викторино. Не вышло. Наступила печальная развязка, Гулливер окончил игру. Точный удар каблуком превратил в труп мертвого паука и расплющил живой катафалк. Муравьиное войско потеряло более шестидесяти воинов, оставшиеся в живых разбежались кто куда, между струйками грязной воды и окаменевшим собачьим калом: для беглецов «солнце стало мрачно, как власяница» (Апокалипсис).

— Ты здесь, Викторино?

Он не ответил, потому что Мама прекрасно знала, что он здесь, нем и недвижим, убивает муравьев и слушает будоражающую песенку Кармен Эухении. Кармен Эухения напевала болеро и гладила рубашку в соседней комнате.

Мама окликнула его непроизвольно, может быть чтобы пробуравить его одиночество своим тонким голосом, одиночество, приглушенное шлепками по майсовому тесту, которое она месила. Сын слышал, как позвякивают о противень капельки ее пота, видел, как пошевеливается от ее дыхания занавеска из кретона, вдыхал аромат молотого кофе, всегда исходящий от ее волос.

Викторино терпеть не мог соседа, живущего напротив, вертлявую и странную сороконожку. Этот тип, наверно, прокрадывается в свою комнату по утрам на цыпочках, потому что никто из их коридора никогда не видел, как он входит в свою комнату. Выходить — да, он всегда выходил в шумный полдень, всегда поспешно, словно боялся пропустить важное свидание, словно желал избежать всяких разговоров с жильцами, ведь у людей вошло в привычку о чем-нибудь просить, влезать в чужую жизнь. К тому же этот мулат не хотел примириться с тем, что он мулат — свои черные вьющиеся волосы он тщательно приглаживал вазелином. Лицо его покрывали архипелаги прыщей, а на шее торчала «бабочка» или болталось кашне карнавально-желтого цвета. Мама испытывала перед ним суеверный страх, избегала встреч наедине в длинном коридоре и время от времени почему-то говорила (Викторино интуитивно угадывал, о ком шла речь, хотя она никогда не упоминала его имени, которого наверняка и не знала):

— Он ничего не сделал мне плохого, даже слова не сказал, прости господи, но я его терпеть не могу.

Радость этого дома обитала в комнате напротив. Там жил мастер-каменщик Руперто Белисарио. Викторино называл его дон Руперто. Жил он вместе со своей женой, двумя дочерьми и попугаем. Болтали, что все, кроме попугая, спят в одной кровати, невзирая на явные нарушения морали, состоявшие в следующем:

а) дон Руперто не был женат на своей жене;

б) дочери дона Руперто были старше пятнадцати лет;

в) и обе не являлись дочерьми дона Руперто, а были внебрачными отпрысками предыдущих двух «мужей», с которыми жена дона Руперто извела счастье в былые времена.

Все эти преступления против нравственности по пальцам пересчитывал отец Викторино, когда приходил домой вдребезги пьяный, что случалось каждые два дня. Отец забывал в пылу пьяного красноречия, что сам он тоже не женат на Маме, и точно так же, как любой из жильцов их многоквартирного дома, понятия не имеет, что такое свадьба, — конечно, за исключением толстухи, собиравшей плату за жилье и с порога комнаты № 1 следившей, чтобы в коридоре все было прилично. Толстуха не упускала случая напомнить остальным, что она «сеньора, состоящая в церковном и гражданском браке», как будто это случайная деталь что-либо значит в нашей стране.

Радость исходила из комнаты каменщика Руперто Белисарио, и основным ее источником были не разумные существа, там обитающие, а попугай, живой граммофон, всегда торчащий на проволоке для сушки белья (иногда он марал только что выстиранную простыню, и тогда на его зеленое оперение сыпались удары метлой). С ним Викторино заключил нерасторжимую дружбу. Он научил птицу говорить убийственно вежливое напутствие: «Будь здоров, гад!» Это напутствие всегда вызывало яростное недовольство, потому что попугай обращался с ним к каждому, кто проходил мимо. Более пяти человек пригрозили набить дону Руперто физиономию, если эта пичуга будет и дальше характеризовать их подобным образом. Дочери дона Руперто только посмеивались в кулак, они знали, что это Викторино обучил птицу сквернословить, но никогда не выдавали его разгневанным и оскорбленным. Викторино был влюблен в Кармен Эухению, младшую из дочерей дона Руперто. Кармен Эухения знала себе цену, лет ей было не так уж мало, но никто не властвовал над ее сердцем. Викторино прибегал к самым ухищренным уловкам, какие только можно себе представить: проделывал тончайшие щелочки острием ножа в ее двери, кошкой взбирался на шаткую крышу, чтобы

только увидеть у нее что-нибудь (он удовлетворился бы и одной грудью), когда она мылась в их единственном на весь дом душе, который был расположен в самом конце заднего патио, за общей кухней с посудной мойкой, тоже общей. Однако глазам Викторино так и не удалось насладиться ничем, кроме ее голых ног, прекрасных ног цвета темной патоки, но они и так были у всех на виду, и поэтому их обозрение не являлось ни привилегией, ни грехом.

А там приходил и Факундо Гутьеррес, отец Викторино Переса, заложив за галстук не одну бутылку. Об этом говорили его горделиво выпяченная грудь и клоунские поклоны налево и направо; вблизи же от него вообще несло как от винной бочки. Мама и Викторино уже чуяли, что он без работы. Достав работу, он исчезал из этих трущоб, а позже рассказывал, что водил в какой-то глухомани грузовик. Но он всегда терял работу — такова, видно, участь всех пьяниц. Возвращался голодный и нахальный, съедал лепешки, которые Мама выпекала на продажу, заграбастывал монеты, которые она копила в пустой жестянке из-под печенья «Квакер» и ложился с нею спать; Викторино слышал, как они пыхтят и рычат, словно дикие звери. *И еще беда в том, что он меня бьет; правда, Мама тоже меня бьет, но ей-то можно, потому что она моя мать, а кроме того, бьет она по щекам, просто шлепает сильно, а потом, после потасовки, переживает вместе со мной. А вот Факундо Гутьеррес, так зовут моего отца, он преспокойно снимает ремень и только радуется, когда я ору, и ни Христос-Чудотворец, ни Мандрейк-волшебник¹ меня сегодня не спасут, я удрал из школы, там мне тоже здорово попало, я просто терпеть не могу этих сопляков в матросских костюмчиках, которые сидят рядом со мной, а Мама обязательно расскажет об этом Факундо Гутьерресу, она не хочет говорить ему об этом, но все равно скажет, и не спасут меня ни Христос, ни Мандрейк.*

Факундо Гутьеррес, дыша анисовым перегаром и не обращая внимания на мальчика, прошел мимо, рывком поднял кретоновую занавеску. До слуха Викторино донесли приглушенные слова, которых он не расслы-

¹ «Всемогущий маг» — персонаж комиксов.

шал, но о смысле которых догадался. Что делает тут мальчишка в эту пору, почему сидит у порога, словно нищий, вместо того, чтобы быть в школе? — сказал он. Мама хранила молчание, затаив надежду, что его разгоряченный мозг займется другим, что отец перескочит на другую тему, как это часто бывало в таких случаях. Ты сама во всем виновата, привязала его к своим юбкам, как собаку, как раба, он у тебя на побегушках, он никогда не научится читать, говорил он. Тогда Мама призналась, что Викторино пропустил уроки, но что уже наказан — она дала ему подзатыльник, вцепила четыре оплеухи и заставила сидеть на порожке, пока не придет время вернуться в школу. Но Факундо Гутьерресу все эти подзатыльники, оплеухи и ссылка на порожек показались слишком мизерным наказанием.

— Пойди сюда, Викторино!

Факундо Гутьеррес стоял и ждал его, злонамеренный карающий робот, держа в правой руке ремень, завязанный узлами, широкий и замусоленный ремень, вырезанный из кожи какой-то волосатой твари — кабана или, может быть, дьявола о четырех лапах. Если попытаться бежать, ловко уклоняясь от ударов, будет еще хуже, он это знал. Самое разумное — втянуть голову в плечи, как это делают боксеры, например Рамонсито Ариас, прикрыть обеими руками низ живота, чтобы уберечься от самого страшного удара, и подставить плечи, руки, ноги, зад, в общем второстепенное, ударам плети. Полезно также орать во всю мочь своих легких, поднимая визг на самых высоких нотах, — это тревожило соседей. Мальчишку убивают! И палач иногда умерял свой пыл. На этот раз Викторино предпочел держать фасон, перенести пытку без единого крика, чтобы не услышала Кармен Эухения и не узнала об его унижении — она ведь в соседней комнате, напевая болеро, гладила рубашку,

Факундо Гутьеррес — не какой-нибудь молчаливый истязатель, а красноречивый садист, он обычно сопровождал порку злыми наставлениями, бранью и мрачными угрозами:

— Ах ты, щенок паршивый! Да я тебя, знаешь, как искалечу?! Будешь у меня кровью блевать!

На этот раз отец всыпал сыну гораздо больше обычного. Алкоголь распалил его, как укусы осы. Наконец

бог смилостивился — вступилась Мама, стала молить, мол, хватит, но остервеневший Факундо Гутьеррес ее не слушал. Тогда Мама бросилась между ними, обозвала отца продом, стала хватать за руки, чтобы помешать избитию. Ты его убьешь! И Викторино пустился наутек.

Он побежал выплакаться в самый дальний патио, где никто его не видел бы, не охал и не ахал над ним. Викторино втиснулся в расщелину между двумя бугорками у подножия корявой акации. Из мойки струилась мыльная, вонючая вода, стекающая с грязных тряпок и жирных сковородок. Факундо Гутьеррес — его отец, он этого не отрицал, но он ненавидел отца всем своим сердцем, сердцем озлобленного негритенка. Никакое другое чувство не распирало так сильно его грудь — ни любовь к Маме, ни даже желание видеть нагишом Кармен Эухению. В склон одного из бугорков врезался продырявленный кувшин и красовался там с горделивым изяществом эллинской амфоры — дыру в его цинковом дне Викторино прикрыл венчиком увядшей камелии. *Я все равно ненавижу бы его, всегда ненавижу, если бы он даже не бил меня.* С кучи сухой серой листвы в соседнем патио соскочила белая курочка с червяком в клюве. Где только шляется растяпа-петух толстухи, которая собирает плату за жилье? Он бы уж придавил эту курочку своей мощной грудью, он бы задал ей — только пыль и перья полетели.

А Факундо Гутьеррес встал из-за стола, когда они обедали, и наотмашь ударил Маму в присутствии Викторино, да, в его присутствии. Потом перед его затуманенными глазами проплыла Кармен Эухения во всем своем очаровании. Она повиляла бедрами, чтобы помучать его, и, тихо усмехаясь, вошла в отхожее место, а он (разочарованный жизнью) заставил себя вообразить, как она садится на разбитый стульчак, спустив штанишки на икры, и эта картина излечила его влюбленность. *Факундо Гутьеррес вскочил из-за стола зверь зверем. И ударил Маму при мне, при мне, чтоб мне сдохнуть.*

Во дворе вдруг послышался хриплый крик, и по земле засеменяло что-то зеленое на вывернутых ножках. Это попугай, увидя своего друга избитым и страдающим, спрыгнул с проволоки, чтобы выполнить мис-

сию утешителя. Он остановился близ лежащего мальчика и фамильярно прокричал единственные слова, какие знал: «Будь здоров, гад!»

Викторино забыл о дружбе, которая их связывала, забыл, что птица лишь прилежно повторяет его же уроки, забыл их доброе прошлое и в ярости швырнул в попугая камнем. Он попал в цель. До самой смерти витал перед ним этот маленький крылатый призрак самого бессмысленного из его преступлений.

ВИКТОРИНО ПЕРАЛЬТА

Вот она — кто будет это оспаривать? — божественная машина, колесница Нептуна, и вот он — кто осмелится сомневаться в этом? — самый счастливый день в жизни Викторино, единственный день в его жизни, который заслуживает жалкого эпитета «счастливый». Викторино мягко тормозит метрах в пятидесяти от дома Рамунчо, в переулке без парадных подъездов, и опять рассматривает приборы на щитке управления — так же вожделенно, как молодой супруг новобрачную, освободив ее от подвенечного наряда и белья, скрывавших потаенные святыни. Кнопки, рычаги, переключатели, чуткие стрелки приборов, металлические ободки, обрамляющие круглые стекла, образуют на полированном дереве рисунок, не сравнимый даже с самым гормональным произведением искусства. 1) *Термометр.* 2) *Амперметр.* 3) *Спидометр.* 4) *Кнопка подфарников.*

Никто из членов семьи не верил всерьез, что его отец, инженер Архимиро Перальта Эредия, проявит ничем не объяснимую слабость характера и купит Викторино этот шикарный «мазератти», который сын то клянчил у него, то требовал целых четырнадцать месяцев. Никто не верил, но Викторино использовал в этой игре наиковарнейшие методы дипломатии, прибегая к всевозможным средствам обольщения, разным хитростям и праву первородства, а также праву единственного наследника-мужчины в семье, где, кроме него, были только три сестры, бесцветные и хилые девицы. 5) *Регулятор воздуха в карбюраторе.* 6) *Указатель горючего в баке.* 7) *Переключатель фар.* 8) *Замок капота.*

Никто не мог разобраться в логике, а тем более во всех сложностях логических умозаключений инженера

Архимиро Перальты Эредии, побудивших его уступить нахальному домогательству Викторино, во всяком случае дело было не в стоимости «мазератти». Инженер не советовался ни с богом ни с чертом, когда ему взбрело в голову швырнуть на ветер добрую толику из неисчерпаемого, приносящего огромные прибыли наследства, которое оставил своим сыновьям дон Архимиро Перальта Дахомей, латифундист из рода Перальта и капиталист из рода Дахомей, бывший владелец доходных имений, ныне использованных под городское строительство (по триста боливаров за квадратный метр), хозяин вагонов для скота, превратившихся в тесные ряды двадцатизэтажных зданий, а также держатель ежегодно растущих в цене бумаг акционерных обществ. Сам царь Мидас показался бы примитивным алхимиком рядом с дедушкой нашего Викторино. 9) *Ключ для стеклоочистителей.* 10) *Двойной спидометр.* 11) *Кнопка радиоантенны.* 12) *Рычаг вентилятора, находящегося в ногах водителя.*

Отец Викторино, инженер Архимиро Перальта Эредия, никогда не боялся поставить свою подпись еще на одном чеке — его, вероятно, больше сдерживали замечания партнеров по бриджу: «Ты совсем рехнулся, Архимиро, — только ненормальному может взбрести в голову шальная мысль покупать «мазератти» мальчишке, которому еще нет и восемнадцати... две трефы». 13) *Кнопка отопления (на кой черт отопление в нашей тропической жаре?!).* 14) *Ручной тормоз.* 15) *Рычаг с красным набалдашником справа от меня — для переключения скоростей.* 16) *Часы, конечно, швейцарские.* 17) *Радиоприемник немецкий, мощнейший; принимает какие-то дикие станции: какой-то дурацкий Уолонгонг, а где он находится?* 18) *Роскошный перчаточник, точь-в-точь шкатулка для бриллиантов.*

Решающую роль в победе Викторино сыграло бесценное вмешательство Мамочки. Мамочка, которая ранее соблюдала нейтралитет, неожиданно сказала во время традиционного чая с лимоном: «Почему бы тебе не порадовать Викторино и не купить ему «мазератти» ко дню его рождения, Архимиро?». *Светло-серый, серебристый — о таком я и мечтал; на нем можно выжать (220 показывают четкие цифры справа на спидометре, справа, в самом низу шкалы), можно выжать 220 ки-*

мометров в час. Ну-ка, потягайтесь теперь со мной, подбки!

Мамочка была просто великолепно сегодня утром. Она вплыла в комнату Викторино в облаке своего отороченного кружевами пеньюара, запечатлела на его лбу поцелуй, поздравив с днем рождения, и небрежно сказала: «Взгляни в окно, твой отец купил тебе подарок к совершеннолетию». И хотя Викторино уже знал, о чем речь (Джонни, шофер-тринидадец, не удержался и выболтал секрет), он зарычал от счастья, когда увидел его, светло-серый, серебристый автомобиль, такой, о каком он всегда мечтал, замерший под пальмами у парадного подъезда.

Конечно, только Рамунчо, тигриное сердце, закадычный друг Викторино, имеет право первым прокатиться рядом с ним в «мазератти», оседлать эту гордость итальянской автомобильной промышленности — единственный экземпляр во всей Великой Колумбии¹ — с красной трезубой короной на сером поле. Рамунчо, обалдев от восторга, разваливается на сиденье, обтянутом синей кожей, и, как жевательную резинку, перекатывает во рту какие-то дурацкие слова (Ох, черт, мировая штукавина, мечта Джеймса Бонда, бюстгальтер Брижит Бардо, плащ Супермена, незакупоренный космический корабль!), а потом начинает тыкаться носом в приборы на щитке, отбивая поклоны, как церковный служка. «Мазератти» движется по главным улицам с минимальной скоростью религиозного шествия, огибает углы с помпезной медлительностью фараонова слона, триумфально проплывает мимо застывших от восхищения очаровательных девушек. Хохот Викторино рушит торжественность церемониала. Рамунчо аккомпанирует ему невпопад своим визгливо-саксофонным ржанием.

— А морда-то какая была у старикашки!

Подвиг, который их веселит, был совершен вчера вечером — одна из шуток во время гулянки в честь минувших семнадцати лет Викторино, шумных проводов, закончившихся на рассвете. Викторино всегда вскипает, когда говорят о страхе (в колледже безус-

¹ Союз Венесуэлы, Новой Гранады (совр. Колумбии) и Эквадора, существовавший в период 1819—1830 гг.

пешно пытались заставить его читать противную книжонку, в которой, как поясняла учительница, непобедимый Гектор предпочел пуститься в бегство, как пугливый олень, только чтобы не напороться на копьё Ахилла), когда говорят о страхе как об упадке душевных сил, о преходящей и излечимой болезни. Когда инженер Архимиро Перальта Эредия, его отец, начинает мнить себя после обеда Бертраном Расселом, он развивает перед непросвещенными домочадцами идею о том, что страх — это первоисточник всех религий (творец самого господа бога — ни больше ни меньше), движущая сила истории и всех ее колес, стимулятор научного прогресса, вдохновитель и суть абстрактной живописи. Викторино же ни во сне ни наяву еще не падал в жуткую пропасть, именуемую страхом, и не собирается падать, пока жив. Его, правда, часто томило любопытство поглядеть на страх, как глядят в микроскоп, увидеть поближе этот самый страх, застывающий в синеватой бледности лица, стекленеющий в глазах или стегающий ознобом чью-то волю.

Рамунчо подвез его на своем мотоцикле к уединенной темной улице, где тускло светил единственный подслеповатый фонарь. Какой-то старый лунатик ковылял прямо на них. Это не пьяный, подумал Рамунчо, наверно, засиделся за картишками — слишком поздний час для возвращения домой отца семейства. Как раз когда силуэт прохожего приобрел более четкие очертания под бельмом фонарного глаза (темнота помешала бы им полностью насладиться спектаклем), Викторино вырвался из тени и направил ему в грудь пистолет — мощный, совсем новенький «кольт», который долго исходил злобой от скуки, лежа взаперти в письменном столе отца.

— Мы — бандиты, руки вверх!

Сквозь черный женский чулок с двумя прорезями для глаз, прикрывающий его лицо, Викторино глядел, как скисает от страха этот мозгляк: начинает желейно трястись, хныкать неизвестно зачем, ни в одном загоулке своей души не находит силенок, чтобы поднять руки, от ужаса мочится в штаны.

— Руки вверх, старый хрыч, или получишь пулю в лоб! — сказал Рамунчо, наблюдавший сцену из темноты.

Дрожь старика отозвалась противным щекотанием в желудке Викторино, его чуть было не вытошнило, бешено захотелось плюнуть трусу в физиономию, пнуть в зад, когда тот стал молить: «Пожалуйста, сеньоры, не убивайте, у меня пятеро детей и двое внучат, не убивайте!..» Нет, не стоит того страх, чтобы глядеть ему в глаза.

Добыча свелась к паршивому кошельку, темному от потных рук и грязных карманов. В нем оказались две замусоленные бумажки по двадцать боливаров и небольшая потрепанная фотография унылого семейства в воскресных костюмах. Викторино с удовольствием сунул деньги Рамунчо, швырнул кошелек в гущу кустарника, а фотографию оставил себе — в качестве сувенира.

— Ну и рожу он соорил!

«Мазератти» величественно катит среди двойного ряда деревьев хабí, смех Рамунчо обрывается пронзительным саксофонным визгом. «Глупый бык, влюбленный в луну», — поет радио.

Игра состояла в том, чтобы на долгие секунды уходить из мира сего. Викторино приходилось играть в одиночку — никто из соседних мальчишек, уже не говоря об этих малохольных ангелочках из монастырского колледжа, не осмеливался состязаться с ним. Никто не мог на столь длительное время хоронить себя в голубом прохладном склепе, подчинять свое дыхание строгому приказу дирижерской палочки, по-рыбьему нырять и плавать, позабыв о земле, бесстрашно открывать глаза навстречу остриям воды. Голова показывалась на поверхности внезапно — светлые пряди волос облепляли лоб; глаза, покрасневшие в упрямом единоборстве, часто моргали.

Джонни, шофер-тринидадец, околачивался у края бассейна не для того, чтобы оказать помощь утопающему — этой помощи и не хотели, и не приняли бы, — а для того, чтобы передать наказ, прозвучавший с верхних ступеней лестницы:

— Викторино, сеньора говорит, что...

Он уже знал, что могла сказать Мамочка. Что сегодня день ангела Глэдис (Викторино не верил, что может существовать ангел с таким дурацким англий-

ским именем, но все равно, надо быть на именинах сестры), что сегодня день ангела Глэдис и об этом нельзя забывать. После Глэдис родилась Бетти, а потом Маргарет, и Викторино, сына-первенца, если бы не решительное вмешательство бабушки (донья Аделаида дала обет святому мученику, день которого совпал с днем рождения ее внука), тоже неизбежно окрестили бы каким-нибудь Ричардом, Рикки — страшно подумать. Глэдис, Бетти, Маргарет, три стрекозьявки, измазанные сахарной пудрой, сплошной тюль и голубые ленты, когда румяные, когда желтушные, успевали за день проголосить все гаммы — и в миноре, и в мажоре, — не умолкая с раннего утра до той поры, пока их наконец не укладывали спать с куклами и слезным ревом.

«Сегодня именины Глэдис, ты больше часа плаваешь в бассейне, простудилась, пора одеваться, уже скоро...» Томительный вечер, скучный и глупый, предстояло вытерпеть Викторино. Слетится целый рой подружек Глэдис — туфли белые, оборки по заду муслиновые — вместе со своими черными кормилицами в безупречно чистых передниках, держащими их за руку, с черными няньками, вздыхающими по бравым пожарникам и шелковым чулкам. Обязательно явится Люси и будет кидать на него томные взгляды, эта худосочная телка, и посылать немые призывы из самых глубин своей нежности, пока он не подойдет к ней и не угостит мороженым, на что она ответит: «Большое спасибо, Викторино» — противным голосом, в котором так и слышится «люблютебяявсвятвая». Смехотворный праздник, фальшиво-приторный и нудный, как итальянские оперы или кругленькие зверушки Уолта Диснея.

Придут также и взрослые, приятельницы Мамочки, источая аромат французских духов и запах пошлых романов. Приятельницы Мамочки изъясняются на каком-то отрывистом жаргоне, напоминающем то ли шифр, то ли ребус: И давно она пропала? — говорит одна; Умереть мне на этом месте, чтобы я знала, — говорит вторая; Как-то вечером, — говорит третья; Какая семья, какие предки, — говорит четвертая; И какое потомство, — говорит пятая; Со страха, да, только со страха, — говорит шестая; *Nonni soit qui mal u*

pense¹ — говорит седьмая, получившая воспитание в Лондоне; Как-то вечером я их заметила в магазине я остановилась спросить сколько стоит фуагра² цена отчетливо виднелась на коробке она подошла и поздоровалась со мной был понедельник кажется понедельник да понедельник потому что Альфредо пришел со службы не в духе самое скверное что дождь лил как из ведра, — говорит восьмая. В общем, полная октава в контрапункте пиццикато. Не хотите ли сухого «мартини»? — говорит Мамочка.

Невозможно было весь вечер напролет выносить медоточивые взгляды Люси — у Викторино на лбу уже выросли сладкие сталактиты, а сам он чувствовал, что превращается в торт «Сэнт-Онорэ». В качестве первого проявления протеста Викторино помочился в огромную компотницу, в эту чашу из мексиканского серебра, в золоченых глубинах которой плавали ананасовые круглячки, апельсиновые дольки, клубника из Галипана (вкус компота, присоленного отправлениями его почек, заметно улучшился; девчонки, мечтал он, будут пить, причмокивая от удовольствия). Для второго акта возмущения послужили две жабы, ловко подброшенные в лаковые сумки Асунсьон и Каридад, двух разряженных нянек-негрятенок, которые смешно заголосят по-африкански, когда бородавчатые твари выпрыгнут наружу в поисках утраченной свободы. Но скоро ему все наскучило, и он стал уныло бродить по дому, сам не свой в этой красной бархатной курточке, которую на него напялила Мамочка, — явно непристойный костюм для будущего астронавта.

Зажглись огни, Викторино укрылся в тени манговых и лимонных деревьев патио. Контакт с природой навел его на поистине гениальную мысль. Как раз перед ним находилось окно в комнату с подарками, задрапированное складками гардин. Одна рука, его рука, просунется в комнату и, будто с неба, сбрызнет бензином софу, которая рядом с гардиной раскинула свои подушки. Потом эта же самая рука, его рука, с апельсинового дерева, которое своими ветвями прислонилось

¹ «Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает» — французская поговорка, девиз английского ордена Подвязки.

² Foie gras — паштет из гусиной печени (*франц.*).

к стене, швырнет зажженную спичку в проем окна. Огонь, как известно, первоисточник всех изменений материи (по Гераклиту), и его пляшущие язычки побегут по шелку софы; огонь — символ святого духа, и его алчущие коготки схватят скатерть с подарками. А пестрая оберточная бумага послужит славным горючим.

Праздник Глэдис обратился в страницу Ветхого Завета. Карающий гнев Иеговы посеял панику, гурьба вспугнутых девочек-манекенчиков, визжа, бросилась в патио; за ними понеслись, сопя и топая, как носороги, их черные няньки. Расторопный Джонни вмиг организовал пожарную команду из прислуги, которая бежала с пустыми ведрами к бассейну и возвращалась к мятущимся языкам огня, расплескивая второпях воду и бормоча: «Ах, боже мой». Кто-то позвонил пожарным, и вскоре в ночи рассыпался их колокольный звон, совсем как в кино. Глэдис, Бетти и Маргарет, целые и невредимые, плакали навзрыд в гараже среди инструментов и покрышек.

Мамочка завладела центром сцены — задыхающаяся, растерянная, роковая, бледная Медея, которая излила волнение в крике, наполнившем сына радостью и гордостью:

— Викторино! Где Викторино?

И когда она обнаружила его рядом с собой, мир и покой чудесными голубками вновь опустились на душу Мамочки, улыбка опять возвратила ей весенние краски, наполеоновские приказы зазвучали на поле военных действий, и через пять минут в доме восстановился полнейший порядок.

ВИКТОРИНО ПЕРДОМО

...И хотя Белармино Солис — разумеется, настоящее имя его не Белармино Солис, — руководитель нашей Боевой Тактической Единицы (БТЕ), думает, что мне еще рано бриться, конечно, он ошибается; вон какая у меня щетина, побреюсь и буду выглядеть не менее солидно, чем синецкие испанские священники. В молодости это лезвие было лезвием «Жилетт», а теперь — просто зазубренный скребок, но другого у меня нету; из кисточки пучками вылезают волосы, зеркало же как прокаженный больной — одни щербинки и язвы, собственного лица не разглядеть. Я ушел из дому в этот скверный, прямо скажем, дрянной пансион, чтобы...

Викторино стоит перед зеркалом. С трех часов ночи он вертелся в кровати и не мог уснуть, мысли не давали. Викторино еще раз на собственном опыте убеждается, что самое неприятное в жизни — не действие, как таковое; самое неприятное — это скребущее душу ожидание, когда думаешь о том, чего еще не сделал, но что должен сделать в ближайшие часы; воспроизводишь во всех подробностях свои будущие действия, которые надо точно запомнить, все до малейших движений, и они должны стать почти инстинктивными: ты вытаскиваешь револьвер в 4 часа 27 минут, входишь в эту дверь в 4 часа 27 минут и т. д.

...Чтобы освободиться от семейного гнета, от отцовской опеки, от материнской любви, от домашних споров; из кисточки волосы лезут просто клочьями, но я все-таки заставлю поработать эту нейлоновую патриаршую бороду. Однако если я сейчас не сосредоточусь на бритье, если не сосредоточусь, то обязательно порежусь и не обойтись тогда без йода и...

Самое главное — знать пути отступления, снова и снова повторяд вчера командир Белармино Солис, руководитель БТЕ. Каждый должен точно знать, куда ему идти, когда будет завершена операция. Командир заставил всех шаг за шагом отработать предстоящую операцию, крепко запомнить маршруты, по которым должны скрыться автомашины и люди, — репетировали три промозглых утра подряд. А в полуденные часы, развернув план, который он сам начертил, Белармино опять намечал — запомните раз и навсегда! — невидимые пути своим указующим перстом апостола Иоанна: Вот отсюда ты побежишь, Вот здесь будет стоять машина с включенным мотором, Револьвер держи наготове, Курок взведи, но стреляй только в случае необходимости. Не забудь — только в случае необходимости.

...Йода и ваты, ох, черт, так и есть, порезался, и лезвие тупое, и думаю не о том, и руки как деревянные; резанул прямо по подбородку, сначала это была узкая кривая царапина, а теперь — красная мокрая черта, которую видно даже в этом мутном зеркале, противная кровавая нитка, ползущая по...

Во время операции, продолжал теоретизировать Белармино, главное — трезво мыслить и четко действовать. Конечно, невозможно предсказать с абсолютной точностью развитие планируемых событий. Футбольный тренер тоже не может точно предвидеть, с каким счетом закончится игра, которая продумывалась и разрабатывалась до мельчайших деталей. Как угадать финты, темп, маневренность другой команды? Как угадать в данном случае ответную реакцию других людей (нападающих), которые неизбежно вмешаются в наши действия? Даже самая продуманная операция при ее выполнении, продолжал командир Белармино, лишь на 40 процентов развивается в согласии с предварительным расчетом, остальные 60 процентов могут быть изменены теми людьми, которые вмешаются в дело непредвиденно, или какими-то пустяжными случайностями, которые могут помешать, а бывает, и облегчить развитие событий. Командир Белармино — дока, боец, каких мало.

...По подбородку вниз, к горлу; я прижимаю край полотенца к подбородку, царапина перестает на мгновение кровоточить, в следующую секунду опять появ-

ляется кровь, опять оставляет на подбородке красную дорожку, тогда я решаю не обращать на нее внимания, опять намыливаюсь, кисть размазывает розовую пену — сливки, сбитые с клубникой...

Стрелять только в случае необходимости, настойчиво повторял командир Белармино. Стрельба порождает новые проблемы, вынуждает совершать непредусмотренные поступки, насильно навязывает иные пути, звуки выстрелов привлекают любопытных, враг забывает, что рискует собственной шкурой; прежде всего, надо внушить им страх, запугать, деморализовать: Не подходить, или мы выпустим из вас кишки! (Это звучит более впечатляюще, нежели: Мы всадим в вас пулю!) Мы разможем вам черепа! (Это более убедительно, чем: Мы вас убьем!) Во что бы то ни стало надо избегать смертей и ранений, товарищи, но, если в ходе операции нам придется открыть стрельбу, чтобы успешно выполнить задание, если нам придется убивать, товарищи, — тот трус, кто этого не сделает, — Белармино говорил, а взгляд его стал жестким от какого-то воспоминания.

...Сливки с клубникой, я обдаю лицо холодной водой, теплой тут нет, и начинаю одеваться, хотя одеваться еще рановато — до прихода Валентина остается почти час; да, я сегодня слишком рано встал, но лучше раньше встать, чем вертеться на кровати, как семинарист, которого одолевают видения голых женщин; а на правом носке у меня дыра, и из нее высовывается большой палец. Мать бы мне сейчас ласково приказала, надев очки для чтения: Ну-ка дай сюда...

Операция назначена ровно на 4 часа 27 минут дня. В это время банк будет готовиться к закрытию. Целых десять мучительных часов остается до того, что зовется будущим, настоящим, гипотезой, действительностью, спортом, смертью. Викторино предпочел бы, чтобы это был не банк. Он вовсе не против уничтожить мразь, которая называется частной собственностью, но он предпочел бы, чтобы это не был банк, чтобы налет даже внешне не смахивал на обычный грабёж, которым занимается всякое отребье; а может быть — просто ему мешают мелкобуржуазные предрассудки. И все-таки Викторино предпочел бы, чтобы это был не банк, даже если бы другая операция была еще более рискованной

и опасной. Ему поручается кассир центральной кассы, толстый сенЬор с бакенбардами. Все движения кассира до точности изучены во время многодневного наблюдения, его захватят враспloh в последнюю минуту, когда он будет считать банкноты, быстро и ловко складывая их в стопки соответственно цвету и достоинству, торопясь к закрытию банка. Викторино молнией кинется к решетке с револьвером в руке, нацелит ему дуло прямо в лоб и прокричит: «Руки вверх, не сопротивляться!» Толстяк тотчас побледнеет и задрожит, машинально вскинет руки, как марионетка. Викторино предпочел бы, чтобы это не был банк. Белармино за его спиной займется более опасным делом: он разоружит полицейского охранника, его голос отчеканит с приглушенной яростью: «Бросай револьвер, или я прострелю тебе сердце, несчастный!», и тот бросит револьвер. А может быть, и не так. Может быть, как раз в то время, когда стрелки покажут 4 часа 27 минут, полицейский радиопатруль остановится напротив банка из-за какой-нибудь ерунды, не предусмотренной расчетами БТЕ... А в общем, каждый будет точно знать, что ему надо делать; каждое колесико отлично сработает, чернЫй «шевроле», угнанный двое суток назад из гаража адвоката Москеры, будет стоять на положенном месте с измененным номером — его приведет Валентин и поставит в двадцати метрах от банка, оттуда сам он будет виден за рулем, с ним Карминья со своим полуавтоматом. Черт возьми, а ведь это было бы самоубийством — начинать операцию на виду у полицейского патруля. Викторино поищет глазами командира Белармино, наверняка будет дан приказ отступить; вот Белармино уже пересекает улицу, пригнувшись от тяжести ручного пулемета: шофер патрульной машины глядит на Викторино и что-то говорит вооруженным полицейским, которые сидят сзади; Белармино останавливается посреди улицы, и начинается... Или нет, не так. Может быть, их кто-нибудь предал — один из членов БТЕ, никто никогда не узнает, кто это был, — и в стенах банка уже раскинуты грязные сети ловушки: Викторино быстро и уверенно войдет с револьвером наготове, так же быстро войдет Фредди через боковую дверь, но толстяка кассира не будет на месте, два пулемета застрочат в них со второго этажа, остальные

дадут очередь с улицы; Белармино дернется и покажется прямо к ногам Викторино, обливаясь кровью. А может быть, и не так. В общем, возможна любая развязка, любой исход связан со смертельным риском, мысль о котором порождает напряжение всех нервов, неприятные колики в желудке, позывы в кишечнике, желание быть уже схваченным, желание быть уже мертвым.

...Дай сюда, заштопаю; я одет в серую рубаху, как большинство наших, второй предмет моего шикарного костюма — рыже-коричневые брюки; револьвер мой — врагам на страх, я не раз потрошил его механизм, как студенты-медики потрошат трупы на столах в анатомичке, гайка за гайкой, косточка за косточкой; я стрелял из него по ржавым консервным банкам на пустыре, близ Камури; он буквально сросся с моей рукой. Слиться воедино со своим боевым оружием — первая заповедь бойца-активиста, говорит Белармино. Не будет ли у меня оттопыриваться карман, когда я выйду с ним на улицу? Валентин придет минут через десять...

На вчерашнем вечернем заседании обсудили последние детали, но вышла одна неувязка. Товарищ Флориан, студент биологического факультета (Викторино запомнил его потому, что как-то однажды видел у него под мышкой книгу, которую не следовало бы открыто носить), Флориан слушал одним ухом то, что говорилось, и в страхе поглядывал на окно — может быть, он тоже предпочитал, чтобы это был не банк. Белармино сделал вид, что ничего не замечает, долбил свои инструкции, как кузнец молотом по наковальне, а в конце, прощаясь, сказал: «Я решил, что товарищ Флориан не будет участвовать в завтрашней операции», — сказал сухо, без лишних объяснений. Флориан испугался немного, смущенно потоптался у двери, но, возможно, в глубине души обрадовался и ничего не сказал в ответ. Вместо него пойдет Карминья. Командир Белармино доверительно признался Викторино в тот единственный раз, когда они говорили наедине, что он не сторонник участия женщин в вооруженных нападениях. Женщины великолепны в разведке и подготовке активных действий, они способны выудить любые секретные сведения у солдат или полицейских, они незаменимы, когда надо постучать в дверь и добиться того, чтобы открыли

без шума, но подумай о таком непредвиденном случае, когда приходится пускать в ход физическую силу, которой у них нет, ты только подумай, — так говорил ему Белармино. — Кроме того, их присутствие привлекает чрезмерное внимание — на следующий день выходят газеты с огромными заголовками о какой-нибудь таинственной рыжеволосой девице или о разбойнице в черной блузе, но, приятель, кто станет спорить по этому вопросу с нашими политическими руководителями? Тебя могут обвинить в дискриминации, или в сентиментальности, или в мелкобуржуазном уклоне, тебе напомнят о Розе Люксембург, и о Пасионарии, и о Селии из Сьерра-Маэстры¹, и даже о Коллонтай... А что касается самих девчонок из молодежной организации БТЕ, они выпарапают тебе глаза, если ты вознамеришься помешать исполнению их героических мечтаний, — так закончил Белармино и схватился руками за голову. Пойдет Карминья, это как дважды два четыре, в своем черном свитере и со своим сороказарядным полуавтоматом.

...Через десять минут. А вот и Валентин, пунктуальный, немногословный, непреклонный, в черном костюме, Филипп Второй, да и только.

— Готов? — спрашивает он меня.

— О'кей.

Это были какие-то сероватые пичужки плебейского вида, не имевшие названия; во всяком случае, Викторино ничего не нашел о них в своем учебнике зоологии, написанном каким-то французским иезуитом, и даже Мать не знала, как они называются. Сначала Викторино прятался в темном зале, представляя себя Портосом, мушкетером-гигантом, бесстрашным воякой, не боящимся ни темноты, ни привидений, только совсем немножко крыс, которые копошились в выгребной яме, — мохнатые подпольщики с челюстями-гильотинами. Потом Викторино высунул голову за калитку, которая выходит на улицу, и превратился в монаха-затворника, наблюдающего из-за решетки своей кельи,

¹ Активная участница Кубинской революции, ныне входит в состав революционного правительства Кубы.

как на глазах гибнет мир. Он смотрел, как мимо плелись усатые, вдрызг пьяные солдаты-патрульные, как поливали друг друга помоями кухарки, как возвращались из школы невежественные дети с ослиными ушами на макушке. Когда надоело быть монахом, Викторино смастерил самые простые силки для птиц — картонная коробка и тоненькая палочка, подпирающая ее снизу, вот и все; однако щель между приподнятой коробкой и цементным полом была настоящей пастью крокодила. Маисовые зернышки, тонкой строчкой прошивая землю, вели прямо в коробку, к самому основанию палочки. Конец шнура, привязанного к палочке, находился в руках Викторино, который сидел неподалеку с книгой на коленях, делая вид, что углубился в чтение.

Первым попался самый здоровый, самый нахальный — вождь нападающего племени. Покружившись, он спустился на землю и стал клевать зерно за зерном быстро, как заведенный, потом прыгнул под коробку, не подозревая ни о каких кознях, и тут же, ошеломленный и разъяренный, оказался в руках Викторино, который произнес следующее:

— Видишь, что с тобой случилось? И все потому, что ты болван. Слышал ты когда-нибудь, что существуют люди, которые разбрасывают маис, чтобы кормить каких-то летунов? Маисовые зернышки надо собственным горбом зарабатывать, дружок.

Викторино сел на стул, держа пленника в ладонях, и продолжал свои наставления:

— Теперь ты находишься в заключении, как мой отец и разные глупцы, которые думают, что у нас в стране есть свобода и что у них есть крылья, чтобы летать. К счастью, я не какой-нибудь диктатор, и, пожалуйста, не верь клевете. Я Черный Корсар, а Черный Корсар — это совсем другое.

Дойдя до этого места своей речи, Викторино опустил птицу живой и невредимой на землю и хлопнул в ладоши, чтобы заставить ее взлететь. Пичуга один миг колебалась, боясь попасть в новую западню: инстинкт животных не верит в людское великодушие. Не верила в него и Микаэла, кухарка, которая ворчала, тайком наблюдая сцену из-за жалюзи:

— Вот глупый мальчишка! Целых полчаса сидел,

чтобы поймать птицу живьем, держал ее в руках, прочитал ей отходную, а потом взял да отпустил.

Тучами, не самыми черными, но мешавшими жить Викторино, были бронхит и вечная простуда, смена липких платков, вынужденные заходы в бухту соплей и мокроты, осипшая глотка, будто обложенная наждачной бумагой и усеянная рифами; неуемный кашель, бившийся в ребрах; слабость после озноба. Стоя на носу бригантины, овеваемый всеми ветрами, с рукой на эфесе шпаги, воткнутой в качающуюся под ногами палубу, Викторино еще раз высморкался и направил подзорную трубу на горизонт, где мелькали чайки, которые, ясное дело, кружили над таинственными островами и их голыми обитателями, украшенными нерьями. Сейчас среди осколков коралловых атоллов и обломков деревьев разгорится бой с пиратами-соперниками: с одноглазым и кровожадным по кличке Матерый Волк и с хромоногим по прозвищу Желтый Камзол. В объятиях моря бесновалась ночь, ночь цвета красной свеклы, а змеи, скользившие с красной луны, бросались на страшные головы акул. Осипший голос Викторино прорывался сквозь грохот литавр, в которые били волны, и сквозь тухлые испарения, которые неслись с ближайшей помойки:

— Зарифлять паруса! Отдать якоря!

Пальцы правой руки Викторино Ди Рокканеры, Черного Корсара, когтями леопарда вонзились в рукоятку шпаги. В лице не дрогнул ни один мускул. От дыма пушечных выстрелов запершило в горле или, может быть, от кашля, от проклятого кашля, который сотрясает его ребра.

— Право по борту! — закричал с фок-мачты матрос, прилепившийся к самым звездам.

Фрегат Пьера Жильяка, страшнейшего из флибустьеров Мартиники, устремился к ним на всех парусах, вот он у самого борта, уже сверкают выстрелы аркебузов, уже блещет бешеная сталь обнаженных шпаг.

— На абордаж, мои храбрые львы, на абордаж!

В самый разгар баталии вошла Мать. Викторино не слышал ни ее шагов, ни скрипа открывшейся двери. Мать вошла, нагруженная книгами и апельсинами.

— Ты опять сидишь в патио? Хочешь заработать воспаление легких?

Мать повела его в темную комнату, положила на буфет фрукты и книги, за исключением одной, из которой она вынула письмо и сказала:

— Это от Хуана Рамиро.

Хуан Рамиро Пердомо, отец Викторино, сидел в тюрьме в Сьюдад-Боливаре, на берегу реки Ориноко, и, наверное, совсем не думал о том, что Черный Корсар однажды придет и освободит его. Мать зажгла свет. Тогда она еще не надевала очков для чтения, она выглядела такой красивой, с этим письмом в руках — как ирис, серьезный и печальный. Она вытащила платочек из выреза блузки и, всхлипывая, уткнулась в его кружева.

— Это от Хуана Рамиро, — сказала она, оправдываясь. В патио вернулись серые пичужки в поисках корма и обмана и удивились, что там нет Черного Корсара. Черный Корсар плакал навзрыд, чтобы не отставать от своей Матери,

ВИКТОРИНО ПЕРЕС

Вовсе это не деревья, вовсе это не река. Нет, это не деревья, они не достойны того, чтобы принадлежать величественному царству природы, эти кустарники со скрюченными ветками и мохнатыми листочками, эти железные прутья крапивы, о которые точат свои когти и острые зубы дикие коты и ведьмы. Разве могут принадлежать царству флоры эти камыши, забрызганные жирной блевотиной грузовиков, или эти рахитичные стволы с какой-то серой рванью вместо кроны, а тем более эти нахальные аунции, которые так и норовят своими шипами ткнуться вам в лицо, как зеленые летучие мыши. Викторино широкими скачками несется вниз по склону, поросшему чахоточной растительностью, раздвигает руками темноту, чтобы скорее удалиться от желтой громады тюрьмы, от криков и фонарей своих преследователей, от револьверов, которые снова стали палить по змеиным шорохам в кустарниках. Он выбрался к берегу реки, которую трудно назвать рекой, — сточная заболоченная канава, густой поток, который во тьме разветвляется, опять сливается, упрямо катится вперед, неся в себе вонь тухлой рыбы и дохлых ослов, терпкий запах мочи и нестираных штанов, губительный смрад, который поганит юг нашего города.

Он пробежал около двухсот метров вдоль так называемой реки, а может быть, более двухсот; жандармам уже не найти его, хотя вдруг вспыхнуло утро. Теперь он почти в самом низу глубокого оврага, прорезанного наискосок зарослями камыша и украшенного на той, крутой стороне большим жилым домом. Издалека до него доносятся крики, приглушенные расстоя-

нием; лай собак, бьющихся мордами о недвижные решетки своих дворов, еще два выстрела, бессмысленных, по зловонному призраку воды.

Во что бы то ни стало ему надо пересечь так называемую реку. На нем черные штаны и рубаха грустно-серого цвета, оживляемая широким лиловым поясом, на ногах коричневые, прошитые шнуром мокасины, все так, как было, когда его схватили, Бланкита, в твоих объятиях. Он закатывает штаны до колен, но туфель не снимает, чтобы не порезаться об осколки бутылок, не напороться на злобные острия пустых консервных банок, на ржавые ножи, которые торчат под тошнотворной жижей. Не колеблясь, он переходит вброд так называемую реку. Его ноги утопают в патоке, истекающей из клоак; вода вяло похлопывает по голым икрам беглеца, какая мерзость, Бланкита.

На другом берегу Викторино не находит вообще никакой зелени, один голый склон. Карабкаясь вверх по откосу, он вдруг чувствует, как у него начинает ныть нога, которую он подвернул, когда прыгал с тюремной крыши. Внезапно он напарывается на колючую проволочную изгородь. Это конец заброшенного голого пустыря: ни травы, ни людей, ни кур, ни собак. Единственный, всеми покинутый здешний обитатель — каркас старого автомобиля, в молодости красного красавца, ставшего теперь железной рухлядью в язвах. Колеса без покрышек — смехотворные паралитики — стоят на четырех кирпичках. За скелетом автомашины поочередно вырисовываются: наглухо забитая дверь, над ней лампочка и затем водопроводная труба, крючком торчащая из стены. Викторино открывает кран и обливает водой свои загаженные туфли, моет ноги, потому что к коже прилипла отвратительная сальная пленка так называемой реки. Меж тем утро начинает разгораться. Легкое тарактение повозки летит сквозь новый свет дня. Викторино расправляет плечи, стоя в конце прямой улицы, нехотя отрывается от стены и идет, насвистывая доминиканский меренге¹, к углу улицы Пелаес.

Удаляясь от пустыря, Викторино тщательно обшаривает карманы брюк. В левом кармане он обнаружи-

¹ Песня-танец, распространенная в странах Карибского бассейна.

вает стертую пепельно-серую монетку, один боливар, которую всунули ему ловкие руки Огненной Розы, подкравшегося к решетке камеры. В правом кармане он нащупывает нож, который ему преподнес колумбиец Камачито, во всеуслышание объявивший, что он гордится знакомством с ним, Викторино. Газеты только и говорят о вашей милости, сказал Камачито, церемонный и благовоспитанный индеец киче, не то, что здешняя шпана. Камачито, узнав о плане побега, созревшем в голове Викторино, расстался со своим ножом, заставил Викторино запомнить адреса некоторых своих земляков. Они живут в районе Про Патрия, вашей милости они могут понадобиться, сказал Камачито, *А в заднем кармане я храню твой портрет, Бланкита, моя любовь, портрет, который ты сумела передать мне со своей запиской. Записку я порвал, старуха, в ней было много лишнего.*

Главное — найти тебя, Бланкита, твоя улыбка затерялась среди двух миллионов сволочных рож. Викторино помнит наизусть бессвязный конец твоей писульки, полученной в тюрьме: «Я больше не могла выносить насмешки соседей, голубок, они смотрели на меня, будто я сожительница самого дьявола, я знала, что они думают: жена вора, жена бандита, жена социального врага № 1, будто бы мне важно, что обо мне думают эти свиньи, или то, что ты сделал, или то, что ты завтра сделаешь, для меня важен только ты и ничего больше, кроме тебя, как говорится в песне, я больше не могу выносить этих таких пристойных и таких бессердечных людей, я сегодня же отсюда уезжаю, голубок, уезжаю в гостиницу, которая находится в Сан-Хуане, тысяча поцелуев».

Из-за этих поцелуев он и порвал письмо. Представь себе, Бланкита, если бы жандармы при обыске нашли его и, случись беда, прочитали про поцелуи, он обязательно пришиб хотя бы одного из них. Ты больше ничего не говоришь, кроме того, что переехала в гостиницу, находящуюся в Сан-Хуане, Бланкита, как будто Сан-Хуан какой-нибудь переулочек, а не район, где тысячи домов, гаражей, гостиниц, пекарен, баров (закрытых от 5-ти до 6-ти), почтамтов, булочных, борделей, кино, бильярдных, магазинов, принадлежащих туркам, и вилл, принадлежащих богачам. В своей записке,

Бланкита, — и как ты только могла подумать, что Викторино так быстро сдастся? — в своей записке ты пишешь, что газеты кричат о его задержании как о великом подвиге полиции — мол, вооруженный бандит, очень опасный, держат его в одиночке, за семью решетками, охраняют день и ночь, и никому не удрать при таких условиях, — именно так ты думала, Бланкита. Да, но гостиница, говоришь, в Сан-Хуане? Она все равно отыщется, Бланкита.

Пока Викторино быстро шагает по пути к Сан-Хуану, улицы города заполняются грудями овощей и фруктов. Грузовики, пылающие помидорами и красной капустой, тяжело катят к рынку Кинта Креспо. Кабачик-португалец — ранняя пташка — с вызывающим скрежетом поднимает металлические жалюзи своего заведения. Викторино останавливается выпить чашечку кофе, его пустой желудок просит передышки. Негр в рваных альпаргатах, подающий кофе, чешет в затылке, возвращая сдачу с серенького боливара. Две проститутки остервенело бранятся в подъезде старого дома, материалистки, они ругаются не из-за человека, а из-за денег, готовые вцепиться друг другу в волосы.

Викторино наталкивается на рахитичного городско-го полицейского, на котором болтается не по росту большой мундир. У Викторино так и чешутся руки отобрать у него револьвер. Но тут он вдруг замечает знакомую физиономию одного типа на мотоцикле. Он, видимо, ждет чего-то или кого-то. Викторино вспомнил — это парень из булочной. Столичных мотоциклистов объединяет в одну семью общность риска и грохота, профессиональная ненависть к выхлопным газам автобусов и ворчливым проклятиям стариков. Викторино первое время был тоже мотоциклистом, из тех, которые вырывают сумки и пакеты у сеньор, не стесняясь остальных прохожих.

— Я на мели, кореш, подкинь денюжат.

Тип на мотоцикле глядит на него в растерянности, тип не знает ни его имени, ни занятий, никогда не слышал раньше звука его голоса, а вот лицо, да, это лицо он видел, не раз оно мелькало мимо, но ему вспоминается и другое лицо, виденное позже, уже в движении, кто знает где, ему страшно сопоставить это лицо с портретом бандита, напечатанным три дня назад в

газетах. Кроме того, он читал, тоже не знает где, что бандит пойман, да, он об этом читал, эта уверенность помогает ему отбросить всякую мысль об опасном сходстве, и рука у него не дрожит, когда он протягивает пять боливаров.

— Обязательно отдам, как увижу, кореш,— искренне говорит Викторино.

И продолжает свой путь прямо к твоей лучшей подруге, Бланкита. Ее зовут Таня, но какой дурак поверит, что ей еще в колыбели дали это славянское имя, Таня, которая работала с тобой, когда вы обе ловили клиентов в ночном баре «Рай». Викторино вытащил тебя из этого дерьма и нашел тебе жилье, Таня знает адрес норы, в которую ты забилась, это точно.

Таня действительно знает. Дверь полуоткрыта, сама она босиком, в нижней юбке. Кто там, бормочет она плаксиво, она, конечно, думала, что это полиция, у Тани, должно быть, свои счеты с полицией или с каким-либо бравым малым, который неожиданно вернулся, или с булочником, которому она должна. Ее страх обращается в панику, когда она видит, что ей угрожает не одна из этих второстепенных опасностей, а сам Викторино. Таня осведомлена обо всем, о нападении на магазин, о смерти (его нельзя было не убить) итальянца, о блестящей поимке преступника, и вот сам преступник смотрит на нее испытующе. Таня тихонечко шепчет ее певучее название, название гостиницы: «Лукания», парень, «Лукания», и захлопывает у него перед носом дверь, словно перед бубонной чумой.

Он должен был бы вспомнить об этом укромном уголке, если бы не был таким безмозглым негром, потому что именно здесь они развлекались несколько суббот, когда ты, Бланкита, была еще девкой из бара, а не его женой. Упомянутая гостиница — это всего-навсего кривобокий домишко, хотя и двухэтажный; присматривала за ним зобатая, одетая в черное старуха, которая была привратницей, хозяйкой или чем-нибудь похуже. Сейчас только семь утра, дверь заперта изнутри на ключ и засов — в эту пору едва ли взбредет кому-нибудь в голову просить приюта в отеле «Лукания».

Наконец ему открывают. Во главе заведения уже не толстая старуха в трауре, а итальянец, который

арендует этот дом и от которого разит «горгонзолой»¹. Чего вам надо? Новый домоправитель не позаботился сменить неряшливую обстановку, которая ему досталась,— вон там стоят те же самые кресла с торчащими пружинами, висят те же обшарпанные занавески, в той же никелированной раме Освободитель на белом коне, который стал теперь серым в яблоках, засиженный скопищем мух. Чего желает сеньор? Худая взъерошенная служанка подметает маленький дворик худой взъерошенной метлой. Метла и служанка похожи друг на друга как две капли воды. Чего вам надо, per la Madonna²?

Эта сеньора тут не живет, говорит итальянец. Ты правильно сделала, Бланкита, что назвала не свою фамилию,— газеты часто публиковали твое имя рядом с именем Викторино. Викторино вспомнил о твоем портрете, вытащил его из кармана и показал хозяину гостиницы.

— Она моя сестра, я пришел из Рио-Чико, от старой матери, срочное дело.

Итальянец косит глазом на твою фотографию, Бланкита, его толстый палец показывает Викторино на угол второго этажа, на ту самую комнату, куда вы уединялись, ты и она, разгоряченные после того, как всю ночь миловались за столом в «Раю». Викторино идет, хромя, к лестнице, нога побаливает, но он четырьмя прыжками взлетает наверх, стучит в дверь кулаком, раз, два, три, ему не отвечает твой голос, Бланкита. Ему отвечает хриплый рев мужчины:

— Кой черт лезет в такую рань? Твою мать...

В тот вечер Викторино познакомился с Крисанто Гуанчесом, не подозревая, какую роль этот случайно встреченный, в ту пору разговорчивый и обтрепанный метис сыграет в его жизни. Викторино прогуливал почти все уроки. Мама смотрела сквозь пальцы на его шалопайство: отец Факундо Гутьеррес теперь в счет не шел — вот уже год, как он исчез из их многоквартир-

¹ Сорт итальянского сыра.

² Ради Мадонны (*итал.*).

тирного дома, на сей раз навеки, унеся с собой тяжкий груз ненависти Викторино.

Викторино спустился почти на самое дно оврага в поисках Водяной Мартышки, своего кэтчера¹. Мартышка никогда не убежал из школы, потому что вообще не учился. Как бы управлялась Нарсиса по дому без Водяной Мартышки? Водяная Мартышка собирал хворост, Водяная Мартышка таскал клиентам выстиранное белье, Водяная Мартышка поднимался в город купить рису и бананов, Водяная Мартышка помогал ей присмотреть за своими тремя братишками, тремя чертенятами, которые лазали, голопузые и чумазые, среди валунов и совали в рот что попало. Четыре сына Нарсисы были так не похожи друг на друга, что никому и в голову не пришло бы спросить — родные ли они братья. И к тому же никто из четверых не пошел в Нарсису, все в отца, а значит, отцы у них были разные.

Викторино больше нравился домишко Нарсисы, грязная лачуга, прилепившаяся у моста, чем многоквартирный дом, в котором он жил. Мама смотрела на него со снисходительным презрением, когда он высказывал в ее присутствии эту дичайшую мысль. Глупый мальчик. Домик Нарсисы и Водяной Мартышки построен из каких-то жалких обломков. Где они только раздобыли эти куски картона и жести, из которых сложены стены. А пол? Голая земля да щебенка. А потолок? Две рогатины, а сверху листы ржавого цинка, которые вон везде валяются. Задней же стеной служил вертикальный срез оврага. Когда дождя не было, овраг водой не наполнялся, но, если лило как из ведра, рыжий поток ревел тигром, грязными кобылами вставал на дыбы, грозил унести людские пожитки — иногда и уносил. Вверху, на мосту, грохотали грузовики, визжали клаксонами легковые машины. И тем не менее Викторино предпочитал эту пещеру, вырытую в склоне оврага, — только не комнату в многоквартирном доме, такую же, как остальные двадцать три комнаты, протянувшиеся вдоль коридора, похожего на тюремный ход. Маме этого не понять.

— Пошли, кэтчер, сыграем!

¹ Игрок в бейсболе, ловящий мяч (англ.).

Водяная Мартышка встал с циновки, где он обычно лежал и размышлял, пока Нарсиса замачивала простыни в корыте, окруженная голоштанными сыновьями и говорливыми соседками. Водяная Мартышка одним прыжком выскочил наружу и пошел вверх следом за Викторино. Они карабкались по узкой и крутой тропке, которая рождалась на дне оврага и кончала свое существование там, наверху, откуда долетали крики бродячих торговцев. Викторино решительно лез вверх, Водяная Мартышка отставал от него шага на три, когда они вдруг увидели, как по этой же самой тропке спускается вниз Крисанто Гуанчес, или Качируло — так он им тогда представился, так они с ним и познакомились. Крисанто Гуанчес загородил им дорогу, схватившись левой рукой за лиану, чтобы случайно не скользнуть в овраг.

— Вы здешние? — сказал он.

Сразу видно, этот малый постарше нас, подумал Викторино. Не потому, что он выше или там здоровее, — нет, он и не высок и не здоров. Просто голос хриплый, рука натруженная, костлявая и глаза острые. Крисанто Гуанчес был мулатом не без примеси индейской крови, с острым носом, как у белых, с настороженным и колючим взглядом, как у негров; потухший окурок нагло подрагивал в углу рта. Одет он был в брюки когда-то цвета хаки и в землисто-серую рубашу с дырой над правым соском.

— Я живу тут, под мостом, — сказал Водяная Мартышка из-за плеча Викторино.

Викторино и Водяная Мартышка, питчер¹ и кэтчер, из оврага поднимались вверх, чтобы сыграть партию в бейсбол; сыновья лавочника-португальца обещали принести новый мяч, но случайная встреча с Крисанто Гуанчесом спутала все их планы. Мне надо поговорить с вами, сказал он. Они сошли с тропки на полпути вверх и сели на корточках под аркой моста. Мое дело дрянь, сказал Крисанто Гуанчес и рассказал свою историю. Викторино и Водяная Мартышка слушали его в благоговейном восторге и молчании, которое прерывалось только кряхтеньем восхищенного Викторино или невольными восклицаниями Водяной Мар-

¹ Игрок в бейсболе, бросающий мяч (англ.).

тышки, совсем неуместными: Ох, душа моя, коняга,— например.

— Сначала я удрал из исправительной колонии в Лос Текес,— так начал Крисанто Гуанчес. Тьма причин оправдывала его бегство. В колонию его отправила собственная мать. Откуда у нее деньги кормить его и платить за школу? Откуда у нее силы справиться с пятерыми сорванцами без отцов? Тут ты по крайней мере обучишься читать, узнаешь какое-нибудь ремесло, говорила она ему под тамариндами, которые растопырились над входом в колонию. Читать он выучился, верно, потому что буквы ему нравились, но ремесло, которому его научили товарищи, не имело ничего общего с тем, о чем мечтала мать. Он научился обороняться ножом от человеческого зла и человеческой справедливости, научился взламывать замки и взбираться на стены. Однажды впятером они набросились на повариху колонии и попользовались ею один за другим — острие ножа, приставленное к горлу, убедило ее не сопротивляться. Он научился курить все, что было под рукой, а научившись стольким вещам, сбежал на рассвете, пробравшись сквозь заросли камышей и ряды колючей проволоки, и напрямик направился в Каракас вдоль полузаброшенной железнодорожной ветки. Он не вернулся домой, а ночевал в сараях и под навесами, укутавшись в старые газеты, чтобы спастись от настырных тараканов.

— Сейчас я драпанул из дыры почище прежних,— продолжал хвастать Крисанто Гуанчес, гордясь своим подвигом. На сей раз он сбежал с острова Такаригуа, из исправительного дома, чтобы не сказать — тюрьмы, в самом центре озера, куда его препроводили после того, как он угнал чужой мотоцикл. Там он перенял поучительный опыт малолетних, но уже умелых преступников; познал карцеры, где спишь на голом полу и сидишь на хлебе с водой, искупая свои прегрешения; познакомился со стражниками, не скупившимися на удары плетью и матерную ругань; увидел часовню, куда надо ходить ко всем мессам, и национальный флаг, который надо поднимать каждое утро. Игра стоила свеч. Семь арестантов поклялись помогать друг другу на воде и на суше, нырнули как-то ночью в одной тихой заводи и вынырнули в прибрежных зарослях соседнего

островка — настоящего змеиного скопища, а потом поплыли к берегам чьей-то асьенды; дальше следовать не пришлось, потому как их накрыли. Стражники и шпики схватили всех, кроме Крисанто Гуанчеса, который в одно прекрасное воскресенье восстал из праха у обочины какого-то шоссе; Крисанто Гуанчеса, проделавшего немалый путь на мешках в грузовике; Крисанто Гуанчеса, просившего милостыню в церквях деревень Арагуа; Крисанто Гуанчеса, спавшего на сухих табачных стеблях в заброшенной лачуге; Крисанто Гуанчеса, который здесь, к вашим услугам.

— Ну, сила! — сказал Водяная Мартышка.

— Что думаешь теперь делать? — спросил Викторино, растирая пальцами листок, упавший ему на руку.

Он вошел в город сегодня на рассвете, через Антимано. Еще не высовывал носа из этого оврага, ожидая, что кто-нибудь ему пособит, кто-нибудь — не легавый и не трус. Глаза Крисанто Гуанчеса нацелились на лоб Викторино.

— Мне нужен товарищ, кореш, который со мной на дело пойдет, — сказал он.

— Будет такой, — сказал Викторино.

ВИКТОРИНО ПЕРАЛЬТА

Какая бы женщина — будь то красотка в расцвете лет, одинокая лилия, замужняя магнолия, вдовья сирень — ни протягивала руку отцу Викторино, инженеру Архимиро Перальте Эредии, он взирал на нее а-ля лесничий леди Чаттерлей, наскоро оценивая ее прелести, — точнее говоря, так, словно готов был скинуть пижаму и улечься с ней рядом. Викторино никак не удавалось уяснить себе, почему мужья, братья или возлюбленные не влепят ему отцу превентивную оплеуху, юридически вполне оправданную. Мамочка же всегда пасует перед лицемерными уловками обвиняемого.

— Ах, Мамочка (он позволяет себе это вольное обращение, которое, в общем-то, разрешено только Викторино), ревновать в нашем возрасте — значит просто посягать на хороший тон; в сорок пять лет у тебя сила воображения, как у школьницы; неужели ты думаешь, что... — И на следующий день Мамочка получает орхидеи от неизвестного господина; она сумеречно улыбается, когда благодарит, ибо ей не сорок пять, а сорок восемь.

Викторино, раздевшись почти догола, чтобы затем натянуть спортивный костюм, садится на скамейку в раздевалке, меланхолично осматривает ногти на своих ногах и еще раз мысленно ругает отца. Бабник, самый настоящий, думает он. Ноготь на большом пальце правой ноги остается предметом его весьма серьезного беспокойства: крохотный от рождения, выросший в мясо; препараты доктора Шоля тоже ничего не могут сделать с уродом-пальцем, этим макроцефалом с нависшим лбом, круглоголовым архиепископом или банкиром,

который дисгармонирует с остальными девятью братьями, длинными, стройными, белыми, как спаржа в пучке. Вот пуп — кофейное зерно, зажатое мышцами живота; соски — темные ягодки на широких тарелках груди. Викторино легонько потирает ладонью рыжие волосы, оттеняющие подмышку, колотит сжатыми кулаками по упругим цилиндрам своих ляжек. А вы, Мальвина, его кузина и любовь, все еще остаетесь неприступной, словно сейф. На кой черт Викторино ваши обмороки, когда он вас целует, ваша дрожь пугливого зверька, когда он ласкает ваши груди, моллюсковый трепет вашего прижимающегося животика, нежности свернувшейся в клубок кошечки, мурлыкающей отнюдь не родственные слова и вздыхающей; на кой черт ему все это, если вы всегда встречаетесь при свете дня, одетые по всем правилам приличия, Мальвина!

Викторино, уже облаченный в голубой свитер, — на ногах белые шерстяные носки и белые спортивные туфли на резиновой подошве — легкой боксерской трусцой вбегает на помост спортивного зала. Тренер Луи Бретон на секунду отвлекается от упражнений, чтобы кинуть ему через плечо приветственное *bon jour*¹. Луи Бретон когда-то был чемпионом Алжира в весе пера — у него всегда при себе удостоверяющие сей факт вырезки из газет (для маловеров). Однако время и латиноамериканская кухня превратили его в объемистый бочонок; толстые очки для близоруких смягчают его дикий взор, два передних платиновых зуба придают металлический блеск улыбке. На нем синие трусы и белые туфли, как и на его учениках; форма тренера отличается лишь тем, что он носит блузу с низким вырезом (вместо положенного свитера). С жилистой шеи свисает золотая цепочка, на цепочке — медальон с изображением св. Роха и его собаки, которые, однако, не видят света, утопая в густой шерсти на груди Луи Бретона, мохнатой, как у отшельника.

Рамунчо, Эсекьель и Уильям, три закадычных друга Викторино, уже возлежат на покрытом парусиной ковре, сгибают и разгибают свои конечности в такт хлопкам и устной команде Луи Бретона (команда по-

¹ Добрый день (*франц.*).

дается ласковым голосом, словно совет: «Руки под голову, ноги прямые, ну-ка, поднять, мальчики, а теперь плечи влево-вправо, пободрее, подружнее, сесть, коснуться пальцев ног; не расслабляйся, Эсекьель, ты ведь не из масла»). Мелодичный звон стенных часов, не имеющих обычных цифр (какие-то мондриановские¹ часы: три желтых сектора и один красный, единственная стрелка — черный рычажок, темп — будь здоров, буги-вуги времени, неопластицизм в действии), приказывает прервать тренировку. Резко пахнет потом, но потом людей, моющихся мылом «Пирс». Рамунчо отводит душу тихим неприличным словом, сидя в позе йога. Тренировка продолжается, теперь они вертят в воздухе ногами (когда Луи Бретон кричит «алле»), имитируя езду на велосипеде.

Викторино едет по воображаемым дорогам, которые прокладывают в воздухе он и его лежащие на спине товарищи, потом кидает *bon jour* тренеру и вприпрыжку бежит в южный угол громадного прямоугольника, туда, где громовдятся штанги и гири. Растянувшись на жесткой, обитой кожей скамье, Викторино займется теперь тренировкой плечевого пояса. Его пальцы сжимают стальную штангу, на концы которой навинчены тяжелые зеленые круги. При толчке вверх краснеет напрягающаяся шея, скрипят, как дверные петли, сжатые зубы, кривятся губы в видимом, но добровольном страдании.

Я — крепкий парень, Мальвина. В той ткани, из которой сплетены наши мускулы, а не в киселе хваленых мозгов размещается истинный разум, если мы отведем разуму принадлежащую ему по праву роль источника энергии, а отнюдь не роль иглы для починки девственности и врожденных пороков, так мог бы думать Викторино. Викторино с удовольствием поглядел бы, насколько хватило бы силы характера и пристрастия к душеспасительным занятиям у всех этих двадцатилетних Фаустов с их сутулыми спинами и кровотокащими деснами, если бы соблазнитель Мефистофель предложил им променять десяток прочитанных книжонек, заслуженную похвалу и ученое благословение их

¹ Мондриан, Пит (1872—1924) — бельгийский художник-абстракционист,

университетских профессоров на его, Викторино, силу и здоровье, на право с гордостью поглядеть на себя, нагих, в зеркало ванной комнаты так, как смотрит он на свои бицепсы. Да они послали бы... (извините за грубое слово, Мальвина) все эти сумасбродные и противоречивые теории, разработанные моралистами и садистами непонятно зачем. Викторино — крепкий парень, Мальвина, и ощущения собственной силы ему вполне достаточно, чтобы чувствовать себя довольным и счастливым на этом свете. По утрам он не корчится в мучительном кашле, как курильщики, а полной грудью вдыхает свежесть и свободу, как молодые бычки и деревья. Он не просыпается в тисках мигрени или в гнетущей тоске, как пьяницы, а встречает утро с ясным взором и спокойным сердцем. Он питает отвращение ко всяким мерзостям, разрушающим плоть, будь то никотин, алкоголь, онанизм, карты, болезнь или хандра, и посему же питает отвращение к губительной морали тех, кто транжирит свою молодость, преждевременно желтея от скуки и педантизма среди учебников по органической химии и спекулятивной философии, — к морали жвачных животных, прикованных к кормушкам библиотек.

В этот самый момент он поднимает, лежа, вес в сорок килограммов, Мальвина, и мог бы его удвоить, если бы в том была нужда, потому что он крепкий парень и его мускулы повинуются его воле. Викторино тут же мог бы просветить нас, что эту крепость, точнее, этот большой вес он берет не каким-то чудом, не милостью божьей, а благодаря своему труду в поте лица. Каждый человек, конечно за исключением рахитичных и хилых от рождения, появляется на свет способным воздвигнуть свою башню, и эта башня непременно будет воздвигнута, если ты не теряешь ни часа и кладешь камень за камнем. Какое дело Викторино, что его соперник может писать стихи, сочинять музыку или решать уравнения, — главное в другом: если случилось бы троем — Викторино, нагишом, второму мужчине, нагишом, и вам, Мальвина, тоже нагишом, — оказаться на необитаемом острове и Викторино захотел бы вышвырнуть соперника в воду, бедняга, не сомневайтесь в этом, был бы вышвырнут вместе со своим греческим яблом и своим гастритом, и Викторино наслаждался бы

наедине с вами, Мальвина. Пусть читают проповеди и пускают пузатых уток ораторы и журналисты, священники со своих амвонов и ученые писаки в своих трактатах. Журналисты, ораторы, ученые и священники не сотворили до сей поры ничего путного, кроме того, что все еще стараются произвольно уравнивать физически слабого человека с сильным, вооружая этого мозгляка смертоносным оружием и правовыми привилегиями, страстно желая ввергнуть того и другого в кровавую бойню и т. д. и т. п.— так сформулировал бы свои мысли Викторино, если бы его учили мыслить. Я — крепкий парень, Мальвина, это все, что он думает, опускающая штангу на грудь; его легкие облегченно и благодарно сжимаются ш-ш-шипящей губкой.

Уильям и Эсекьель подходят к тренировочным мешкам, свисающим с потолка, осторожно кружат вокруг этих кожаных цилиндров, делают ложный выпад левой и затем наносят мощный боковой удар правой, прикрывая лицо перчаткой, будто этот болтающийся чурбан может дать сдачи. Луи Бретон наблюдает за ними, дает советы: Чище делай jab¹, Уильям, а тебе следует быстрее двигаться, Эсекьель,— никогда не меняя своего покровительственно вежливого тона. Викторино оставил гири и теперь дубасит черную грушу — punching bag,— груша с головокружительной быстротой бьет по деревянному щиту, на котором закреплена; кулак Викторино молотит по ней мощно и равномерно, пятьдесят раз подряд «так-так-так...», удары отдаются глухой барабанной дробью.

В душевой собираются все четверо. Викторино открыл кран до предела, обрушил водопад себе на спину, затем подставил грудь и плечи бьющей струе, выпятил живот.

Из-за левой перегородки он слышит голос Уильяма:

— Знаешь новости? Сегодня вечером пирушка в доме Пибе Лондоньо. А нас обошли, не пригласили.

Викторино выключил душ и сдернул полотенце с крючка. Тут же слышится прорвавшийся сквозь звонкие струи воды голос Эсекьеля, который, отфыркиваясь, комментирует известие из-за правой перегородки:

¹ Удар, толчок (англ.).

— Позвоним по телефону Пибе и все узнаем, он что-то темнит, ни словом не обмолвился о празднике, мол, этим вечером мне надо идти на урок алгебры — все врет, трусливый паразит, про свою дурацкую алгебру.

Все четверо выходят из кабинок и задерживаются в коридоре для тайных переговоров, накинув на плечи, как тоги, белые полотенца, — римские сенаторы, охваченные справедливым гневом. Факты: distinguished family Лондоньо празднует пятидесятилетие Нены. В связи с этим в их огромном доме сегодня вечером устраивается бал, на который приглашен почти весь Каракас. Выводы: семейство Лондоньо после тщательного рассмотрения всех возможных осложнений и всех возможных инцидентов решило воздержаться от приглашения их, закадычных друзей Пибе Лондоньо, дабы оградить себя от неприятных последствий (драки, синяки, свинцовая примочка и т. д.). И бедняга Пибе Лондоньо, боевой товарищ, даже не пикнув, покорился оскорбительному нажиму своих предков. Но Эсекьель — студент юридического факультета, не следует об этом забывать.

— Мы все равно там будем и повеселимся, — сурово, под стать Дракону, изрекает Викторино.

Сей окончательный вердикт вызывает у обвинителя Эсекьеля Устариса наглый смех с вариациями — он то кудахчет *pianissimo*, то гогочет в темпе *allegro ma non troppo*, достигая кульминации мощными аккордами хохота, затем переходит на *andante cantabile*¹ и, наконец, заканчивает серию раскатистых арпеджио блестящим финалом.

— Мы пойдем на праздник и захватим с собой Монну Лизу, — неумолимо добавляет Викторино.

Монну Лизу? Хохот Эсекьеля Устариса воспроизводится во всей своей великолепной инструментовке. Три приятеля вторят ему. Никогда имя модели Леонардо да Винчи не вызывало такого шума. Да, конечно, возьмем с собой Монну Лизу. И Луи Бретон, экс-чемпион Алжира в весе пера, тоже смеется вдали, сам не зная чему.

¹ Очень тихо; живо, но не слишком быстро; певуче (*итал., муз.*).

Четыре атлетически сложенных парня, которых вы видите,— Рамунчо, Уильям, Эсекель и Викторино — неразлучные друзья с безумных мотоциклетных времен. Викторино минуло тогда четырнадцать лет, и это было первое сражение, которое он выиграл у отца, а также у Мамочки, геройски борющейся мольбами и упреками против того, чтобы он носился по улице на этой адской машине. Мамочка, ярая противница всякого суеверия и чернокнижья, даже глазом не моргнула, рассказывая ему хитро придуманную историю своих страшных предчувствий:

— Уже несколько ночей подряд, Викторино, мне снится сон, что ты погибаешь в уличной катастрофе, при столкновении... Лужи крови, клубы дыма, все бежит, ужас...— И она смахнула слезу, чтобы выдумка звучала правдоподобнее.

— Такая культурная женщина, как ты, Мамочка, не должна верить глупым снам, мы ведь живем в середине двадцатого века,— ответил ей Викторино, и его аргументы нашли благоприятный отклик в наследственном рационализме инженера Архимиро Перальты Эредии.

— Мальчик прав,— сказал отец,— но я все-таки никогда не куплю ему мотоцикла, это самоубийство. А все сны — наглый обман; мне, например, каждую неделю снится, что я сплю с Софи Лорен, сплошной восторг, но такого еще ни разу не случилось в моей жизни.

Не говорилось ли вам, что он неисправимый циник? Викторино тогда решил научиться водить на мотоцикле Уильяма, семья которого — по своему происхождению и образу мыслей типично английская — была далека всяким страхам и, напротив, гордилась подобными средствами передвижения, приносящими такую славу и такие доходы легкому машиностроению Британии. Однажды днем Викторино ворвался в сад своего дома верхом на мотоцикле Уильяма и помчался по асфальтовой дорожке, раскинув руки в стороны, как акробат. Мамочка, стоя на балконе, приглушила чуть было не сорвавшийся крик тремя дрожащими пальчиками, прижатыми ко рту. Отцу ничего не оставалось делать, как пойти на перемирие с сыном и купить ему этот грохочущий «триумф» кроваво-красного цвета, самый быстрый и необузданный среди всех мотоциклов города.

Стать собственником и водителем великолепного пурпурного «триумфа» значило похоронить свое детство в белой урне под бетонным покрытием улиц. Четырнадцать лет от роду родился новый человек, Прометей на коне, на механическом тигре. Даже когда его дядя Анастасио, верный своим светским привычкам, захватит его с собой в бордель Чакао, где он впервые познает женщину (это случилось годом позже после того, как ему подарили мотоцикл), Викторино не почувствует себя таким взрослым, как теперь, и таким независимым. Никогда прежде не испытывал он опьянения от эликсира, украшенного ярлыком «Частная собственность» и оказывающего такое глубокое влияние на социальную историю наций и частную жизнь людей. Игрушки не были его собственностью, а лишь инструментом, при помощи которого его родители возводили стенку между ним и его сверстниками. Не считал своей собственностью Викторино и противные школьные принадлежности — предмет забот и хлопот его родителей, так же как и одежду, которая только мешала ему свободно разгуливать нагишом среди бамбуковых зарослей, прибитых жарой. Его абсолютной собственностью не был даже домашний пес Ягуар, униженно вилявший хвостом в ответ на его пинки и спавший в изножии его кровати, с наслаждением, как настоящий мазохист, ожидая, когда в него швырнут ботинок. Не считал он своим и скелет-велосипедикко, который скрипит между ногами у каждого посыльного из аптеки.

Мотоцикл — напротив, неотделимая принадлежность, неотъемлемая часть мужчины, как половой член и зубы, как гордость и воля. Мотоцикл — это существо гораздо более живое, чем, скажем, кот или канарейка. Как подругу, он ласкает его взглядом, как невесту, украшает всем, чем может, как малого ребенка моет, наводит блеск. Стоило посмотреть на это всемирно известное сокровище, на красный «триумф» Викторино, на острые бычьи рога, которые Викторино насадил на руль, на этого красавца без единой масляной брызги, заботливо вытертого руками Викторино; со сверкающими крыльями, отполированными до блеска тоже руками Викторино. Стоило посмотреть, как медленно и победоносно спускался он вниз по крутым улицам на скло-

нах Авила. Стоило посмотреть, как бесстрашно, на бреющем полете огибал он углы, повинувшись малейшему движению пальцев Викторино, словно конь самых чистых кровей. Стоило посмотреть, каким коршуном или молнией неся он по прямой, догоняя, послушный правой руке Викторино, поток мчащихся машин, вырываясь вперед и возглавляя их, живописный и величественный, словно лошадь шейха. Стоило посмотреть, как он чутко и осторожно спускался в полночь по старой извилистой дороге, ведущей к морю, испытывая умение и храбрость своего хозяина. Стоило посмотреть, как он, освобожденный от всех глушителей и кляпов, возвещал наступление утра мужественным грохотом, тревожа стариков своей бурной молодостью. Стоило посмотреть на него, на эту красную ярость в облаке дыма, пугавшего улицы партизанской стрельбой.

Поглядеть бы на него с тобой, Мальвина, сидящей на его крупе, Мальвина, обнимающей меня за шею, Мальвина, прижимающей к моей спине свои два лимончика, которые колышутся под твоим свитером, Мальвина; с тобой, кричащей: Пожалуйста, остановись, мне страшно! — Но я-то хорошо знаю, что тебе совсем не страшно, ты просто хочешь покрепче прижаться ко мне, Мальвина.

— Давайте-ка устроим перестрелочку, ребята,— предложил как-то Уильям в пепельных сумерках знойного вечера: ждали обещанную грозу, но она не торопилась; горячий ветерок тормозил брошенные газеты и сухие листья.

Великолепная шестерка уже довольно долго зевала в тоскливом ожидании ливня и проклинала его задержку, полусидя на своих мотоциклах,— одна нога на педали, другая на земле. Все приняли план действий, предложенный Уильямом и точно взятый из кинобоевика, ни минуты не предполагая, что об этой «перестрелочке» будут говорить долгие месяцы в Восточном районе, что эта спортивная забава навлечет на них инквизиторскую ненависть дам-католичек и пуританское презрение благочестивых кавалеров, хотя в полицейском управлении озорникам ничего не смогли вменить в вину, когда полковник Арельяно бесцеремонно притащил их туда. Вышло так, что больше поверили им, чем их обвинителю. Бесплатный донос обозленного

полковника оказался менее убедительным, нежели показания свидетелей происшествия — Рамунчо и Пибе Лондоньо, — свидетелей, которых представили они же сами и согласно которым какие-то призраки-мотоциклисты (мы видели их собственными глазами), горлопаны-негры из коммунистических районов (ох, и страшные хари) проливали кровь и сеяли смерть на газонах Кантри и Ла-Кастельяны, мстя за свои вековечные обиды, расовые и классовые.

Эта перестрелка, которая, судя по рассказам, к полуночи приобрела размах сражения, началась в конце серого вечера самым тривиальным образом, как простая забава. Шесть корсаров сначала разъехались по домам, чтобы конфисковать имеющееся оружие. По возвращении они произвели его учет: два охотничьих ружья, способных стрелять лишь по фантастическим тиграм в ближайшем тире и найденных Уильямом и Эсекьелем в чуланах своих предков; третье ружье извлек Пибе Лондоньо из закровов своего старшего брата — помещика; Рамунчо раскопал в каком-то шкафу блестящий револьвер с предлинным стволом, некогда украшавший пояс его дедушки, когда тот был гражданским начальником в Канделярии; Викторино взял напрокат в перчаточнике отцовского «мерседес-бенца» браунинг, новехонький, жгущий руки своим нетерпением. Что касается Турка Хулиана (в ту пору он еще был членом их компании, этот плут), ему удалось достать только старый дробовик, над которым вдоволь посмеялась бы любая дичь, за исключением, может быть, кролика или голубя. Теперь, четыре года спустя, Викторино уже не помнит — своевременное ли появление этого дробовика или антипатия, которую им всем внушал фокстерьер сестер Рамирес, были причиной тому, что вооруженное нападение началось с охоты на мелкую дичь. Собачонку звали Шадоу¹; из-за толщины она утратила характерные черты своей породы, но осталась, этого у нее не отнимешь, столь же надменной и саркастичной, как фокстерьер, ее породивший.

По правде говоря, дело заключалось в том, что все члены компании (кто больше, кто меньше) были влюблены: либо в старшую сестру с ее нумизматическим

¹ Тень (англ.).

профилем и черными локонами, словно нарисованными углем; либо в младшую с ее благородно-опаловым взором и дивными ручками, такими нежно-белыми, как цветы жасмина. Вторая правда, гораздо более горькая, состояла в том, что ни один из этих парней никогда не тревожил воображения двух красавиц, двух надменных жительниц улицы Альтамира. Старшая вздыхала от безответной любви над портретом сэра Лоуренса Оливье с черепом в руке, чей похоронный монолог явно дисгармонировал с криминалистическим интересом к предмету его изучения; младшая сестра терзалась мучительной страстью к фортетьяно, и даже воспоминание о самых мужественных мальчиках не могло преодолеть ограду из ее занудных гамм и бесконечных упражнений. Но для песика Шадоу (этот контраст отравлял им каждое воскресенье) находилось время и на заботы и на ласки: миленький Шадик, светик ты мой. В пальчиках сестриц треугольные уши собачонки складывались в слоеный пирожок, черной тучкой омрачало их влюбленность лишь пятнышко на глазу Шадоу. Шадоу же оберегал сестер издали, как пронизательный и хитроумный сыщик из Скотланд-ярда, подняв вверх свой хвост-обрубок, подобно антенне, принимающей сигнал опасности. Охота на фокстерьера была поручена Турку Хулиану; это не было издевкой над его бесхитростным дробовиком, да, теперь Викторино вспоминает, это дело было поручено Турку потому, что он был самым покорным обожателем старшей сестрицы Рамирес: с мусульманским терпением часами кружил он у решетки ее сада, она же, неблагодарная, в это время читала книгу стихов (или поваренную книгу), восседая в тени акаций и решительно не желая знать о существовании на свете Турка Хулиана. Сестрицы Рамирес часто ходили в кино и на концерты, иначе говоря, Хулиан попусту растрачивал свою сирийскую хитрость и свое ливанское терпение. Обе эти добродетели, доставшиеся ему от предков, были пущены в ход, чтобы привлечь поближе Шадоу, недоверчивого и настороженного, — удача, кажется, близка, — выманить его на полянку и нацелить на него свой дробовик. С первого выстрела он попал в толстое пузо пса — слишком жирным для фокстерьера был бедняга, — затем превратил его шкуру в решето. Смертельно ранен

ный Шадоу закачался, пьяно шатнулся к изразцам стены и, умирая, злобно тявкнул на невидимого и неожиданного агрессора; новый свинцовый залп пробил пятнышко на его левом глазу: от собачьего чутья и выучки остались одни воспоминания. Сестрицы Рамирес ушли в кино или на концерт, в далекой кухне шмыгали слуги; ни одному человеческому существу не пришлось присутствовать (или уронить слезу) при троянской гибели Шадоу у подъезда его дома.

Совсем иначе, ковбойским кинобоевиком, выглядел бой с доберман-пинчерами доктора Фортике. Псы эти были настолько лишены индивидуальности, так походили друг на друга, что никому и в голову не приходило дать им клички. Дружная и горячая тройка вдруг вымахивала из кустов, подобно трем черным бичам, едва только слышались чьи-нибудь дерзкие шаги вблизи особняка доктора Фортике. Можно было бы подумать, что собаки эти высечены из обсидиана или базальта, если бы не яростное сверкание их миндалевидных глаз. Той ночью вышколенные псы залаяли на опасность, которую почуяли; слепым галопом помчались к рожице, где засели Уильям, Эсекьель и Пие Лондоньо со своими ружьями. Тончайшее чутье говорило псам, что они мчатся в жестокую тьму, что несут на погибель три своих острых головы, шесть своих обрезанных ушей, шесть своих блестящих глаз-миндалин. Первая пуля из ружья Уильяма пробила мускулистый битум груди летевшего в авангарде. Но двое других, не колеблясь, продолжали бешеный аллюр — настоящий доберман никогда не уклоняется от боя. Тогда Эсекьель спустил курок. И не попал. Два оставшихся в живых зверя были уже в пяти шагах от своих врагов, когда Пие Лондоньо великолепным выстрелом раздробил череп одному из них. Только тогда истерически замелькали огни в особняке. В последнем прыжке третий доберман, несомненно, всадил бы свои покрытые пеной клыки в грудь Уильяма. Старый револьвер Рамунчо не тратил времени на «господи помилуй!» — его громовый выстрел оглушил окрестность. Здоровенный пес, роняя слюну, покатился по тераням, обрушив на них весь свой гнев, и тут же затих. *Я не разрядил свой пистолет, Мальвина, потому что не пришла пора; потому что не хотел пропустить ни одной подробности*

этого сражения под дождем. А дождик начал накрапывать со сдержанной нежностью. Три добермана из воровенной стали, черно-синие от немощи, черно-синие от смерти, остались лежать, распластавшись на мокрой траве, как принесенные в жертву быки на арене цирка.

Теперь предстояло Викторино схватиться в поединке с немецкой овчаркой полковника Арельяно. Шерсть, темная на хребте, постепенно переходила на боках в рыжую, хвост красивым ятаганом спускался с мощного зада почти до полу, огромный язык болтался между клыками, ее звали Кайзер. Собака с рабским удовольствием подчинялась приказам полковника, а тот не скупился на похвалы своему Кайзеру: Никогда у меня не было более дисциплинированного солдата, — говорил полковник. Просто диво, францисканская овечка, которую младшие дети полковника седлали, как пони, и кормили из своих пухлых ручонок, превращалась в страшного цербера, едва лишь слышался легкий шум среди ближайших апельсиновых деревьев: Викторино подразнил собаку из-за решетки. Викторино словно уже видел ее напряженное огромное тело, скрытое во тьме; ее вывернутые, готовые к прыжку сильные задние лапы, ее наостренные волчьи уши, оскаленные волчьи клыки — она ведь потомок волка. Викторино уже слышал ее дикий рык, уже различал ее упругие шаги, все ближе и ближе по песчаной дорожке, уже ощущал ее страшное присутствие, тут, за решеткой, где ждал ее с холодным браунингом наготове. Викторино целил прямо между глаз, как заправский охотник на львов, вспышка выстрела слилась со сверканием молнии. Викторино вышел победителем, Викторино с хода вскочил на мотоцикл, одновременно с прыжком в седло завел мотор. Его пятеро приятелей уже с грохотом мчались вперед, по аллее между пальмами и саманами. Полковник будет кричать в тревоге: «Кайзер!» Ему сначала покажется, что Кайзер чутко спит под фонарем у ворот, Кайзер! он узрит трагедию, лишь когда подойдет ближе и его фонарик осветит кровь, которая будет тихо струиться из львиной головы и темными сгустками застыть на траве.

ВИКТОРИНО ПЕРДОМО

Валентин и я входим в коридор факультета гуманитарных наук. Исидоро, покуривая третью сигарету, уже стоит там в своей альпинистской куртке (никогда в жизни он не взбирался ни на один холм); в своих полукедах (никогда, даже в качестве зрителя, он не был ни на одном стадионе). У Исидоро — печальные усы перуанского индейца и танцующая индейская походка, но эти признаки только внешние и не отвечают действительности. Исидоро — ответственный руководитель БТЕ, которая будет помогать нам в нападении на филиал Голландского банка. Исидоро неслышно скользит сзади нас по длинному коридору. Фидель и его борода дружелюбно улыбаются нам со стены. Но никто из нас троих ни на кого не смотрит, даже на портрет Фиделя, даже на Мирейту. Мирейта протягивает к нам кружку для сбора средств, потряхивает ею, окликает звучным контральто: «Не скупитесь на партизан, вы, скряги!» Мы ускоряем шаг, Мирейта следует за нами еще некоторое время: «На партизан, дружки! И на заключенных, если вы боитесь партизан!» Наконец она отстает, нам надо поговорить подальше от здания ректората и аудиторий, чтобы ни одна душа не нашла нас на этих задворках. Уже далеко позади осталась толпа будущих медиков, долбящих свою анатомию, далеко позади. Вот мы и пришли, я беру слово.

— Вот, через эту дверь, — говорю я и показываю Исидоро место, откуда мы будем начинать; моя рука скользит по плану, начертанному на цементном полу. — Через эту дверь входит командир Белармино и я, а вот через эту... — говорю я и умолкаю, потому что ревет сирена «скорой помощи», мчащейся к универси-

тетскому госпиталю...— через вторую дверь появятся Фредди и Спартак. Кассира, говорю я и черчу на этом месте крестик, я заставлю поднять руки вверх. А тут, говорю я, и мел крошится у меня в руке от второго энергичного крестика, тут стоит полицейский, которого обезоружит Белармино. Второго кассира, говорю я и черчу третий крестик, возьмет на себя Фредди, Фредди будет также контролировать действия машинистки, рыжей девицы, которая тут же упадет в обморок, как полагает Карминья. В это время, говорю я и рисую мелом кружок, Спартак ставит на пол свой пустой чемодан и идет с револьвером наготове к этой точке,— эта точка, кабинет управляющего, вход в кабинет — прямо из банковского помещения. Ясно, товарищ?

Исидоро удостаивает меня легким кивком, на мимическом языке кечуа это, видимо, означает «яснее быть не может».

Я продолжаю развивать план действий. Белармино со своим пулеметом и Фредди с револьверами в обеих руках — со своим и с тем, который он возьмет у полицейского охранника,— будут держать на мушке всех присутствующих: двух кассиров, упавшую в обморок секретаршу, обезоруженного охранника, рассыльного и, может быть, запоздалого посетителя. К этому моменту явится Спартак с управляющим, который притащится ни жив ни мертв от страха, трясая своей лысиной, и эта головка голландского сыра, конечно, согласится открыть сейф, чтобы спасти свою жизнь, откроет, и — это уже моя задача — надо будет лишь переложить деньги в чемодан. По нашим самым скромным подсчетам, сумма перевалит за двести тысяч боливаров. Я перекладываю их в кожаный чемодан и брезентовый мешок, который прихватит Спартак. Затем останется только отойти, товарищ.

— Каким же образом? — спрашивает этот вялый скептик Исидоро.

Каким образом? Сначала выходим мы, Спартак и я с деньгами, вслед за нами Фредди и последним Белармино; командир немного задержится, ему надо навести на них страх своим пулеметом и припугнуть: Знайте, паразиты, если кто-нибудь попытается нас преследовать, мы разможем ему голову вон оттуда, с того тро-

туара! Мы выйдем все четверо за двадцать секунд, выйдем быстро, но не бегом, придется притормозить, хотя на ногах уже отрастут крылышки, как у Меркурия,— тут я улыбаюсь.

— Таким образом мы доберемся до угнанного «шевроле», где нас будут ждать Карминья и Валентин, обнявшись как влюбленные, метрах в двадцати от главного входа, вот в этом месте,— говорю я.

— А потом? — спрашивает Исидоро.

Теперь берет слово Валентин. Он развертывает на приступке план Каракаса, который принес с собой в кармане, и начинает подробно показывать, как будет петлять черный «шевроле», едва захлопнутся его дверцы и мы сожмем в комок на его сиденьях. Этот путь был уже проделан нами шестьдесят раз пешком, двадцать раз на машине и десять тысяч раз в уме. Нить Ариадны (Валентин обожает мифологические ассоциации, насчет крылатых ног Меркурия тоже он вспомнил, потому я и улыбнулся, когда так сказал), этот путь — нить Ариадны, которая приведет нас к автомашинам, угнанным вашей БТЕ, товарищ Исидоро.

— В какое время?

— Семь минут займет операция с банком,— говорю я.

— Еще семь минут мы будем ехать к тому месту, где вы будете нас ждать,— говорит Валентин.

— Мы входим в банк в четыре часа двадцать семь минут, вы нас встречаете в четыре часа сорок одну, о'кэй? — говорю я.

— О'кэй,— говорит Исидоро. В их распоряжении: со вчерашнего вечера имеются две автомашины с измененными номерами, не считая легально добытого дорожного катка, который будет стоять в двадцати метрах от банка, чтобы обеспечить место для машины Валентина. Как только она придет, каток уберется, говорит Исидоро. Мы будем ждать вас на этом углу с четырех тридцати ровно, говорит Исидоро, и его палец будто вонзается в точку на карте.

Машины будут стоять на углу около стены католического колледжа, носами на юг, по направлению к кладбищу, Валентин затормозит в трех метрах от них, мы с деньгами сядем в первый автомобиль, остальные — во второй.

— Запомните хорошенько,— говорит Исидоро,— Спартак и ты (он обращается ко мне), вы с деньгами — в первую машину, Белармино и Карминья — во вторую. А ты (обращается он к Валентину) остаешься в «шевроле» с Фредди и немного проедешь за нами, прикроешь сзади, согласен?

— Согласен.

Теперь говорит Исидоро. Карминью высадят за автобусной остановкой, Белармино уложит все оружие в чемодан, у меня в кармане должно быть три болива-ра, чтоб взять такси,— ох, этот Исидоро, ничего не забывает. Последний вопрос: почему командир Белармино, ответственный руководитель нашей БТЕ, не явился лично поговорить с ним, с Исидоро. Не годится, чтобы его видели в университетском здании, отвечаю я. Исидоро ухмыляется, впервые за все время, и уходит не прощаясь, исчезает среди кустов со своими печальными усами и своими никогда не бывавшими на стадионе полукедами; он похож на студента, которого исключили за леность, за меланхолию, а может быть, по болезни. В двенадцать часов в условленном месте, говорю я Валентину. О'кэй, отвечает Валентин и носком ботинка стирает план, который я начертил мелом на цементе, затем удаляется в направлении, противоположном тому, куда ушел Исидоро. Сейчас 9 часов 30 минут, Ампара.

И вот я остаюсь наедине с тобой, Ампара, позади здания ректората, с нетерпением ожидая одиннадцати часов, когда смогу увидеть тебя. Мне, конечно, признаюсь тебе, немного страшновато, немного больше, чем немного, но я ничего не рассказывал и не расскажу тебе о своих делах. Едва ли ты знаешь, что я читаю брошюрки Мао, что однажды меня арестовали за то, что я кричал «ура» кубинской революции,— ты тогда еще хотела идти за мной в Главное полицейское управление. Тебе и в голову не приходит, что я вооруженный активист, а тем более, что я вхожу в одну из военизированных групп ФАЛН, что принимаю участие в нападениях, что ставлю на карту свою жизнь и тело без твоего разрешения. Иногда меня так и подмывает рассказать тебе обо всем, чтобы ты знала, какого мужчину ты называешь своим, но я тут же вспоминаю о парнях, которые корчат из себя героев, чтобы вскры-

жить голову девчонкам, а потом улечься... Мерзость все это, я тебе ничего не скажу. Однажды ночью ты ему приснилась, Ампара, и про это Викторино тоже тебе никогда не рассказывал. Вы оба, обнаженные, бежали по таинственному, пустынному пляжу. Глаза Викторино не отрывались от следов твоих ног и от ритмично двигавшихся упругих смуглых ягодич. Коварные наскоки моря обдавали белой пеной ваши колени. Тройка пеликанов, единственных свидетелей, бестактно преследовала вас. Ты все замедляла и замедляла бег, пока не упала ничком на песок. И Викторино рухнул на тебя, говоря тебе «любовь моя» и целуя локоны на твоём затылке. С моря доносился мелодичный хор черных голосов. Это был будоражащий, силлабический реквием, сладострастный псалом смерти.

Операция «Голландский банк» тщательно спланирована, Ампара. Но только в воздухе повис один вопрос, который все мы хотели задать, и все же никто не смог заставить себя раскрыть рот: а если завяжется перестрелка? Если завяжется перестрелка, Ампара, любовь моя, этот прекрасный план может полететь ко всем чертям. Надо будет принимать решения по ходу дела, руководствоваться первобытным инстинктом, перешагнуть через чей-то труп, чтобы другие не перешагнули через твой. Ты сама понимаешь. А помнишь, тот, прошлый день моего рождения сначала тоже был какой-то невеселый. У нас с отцом разгорелся один из наших трудных политических споров, и ребята с первого курса гуманитарного факультета с трудом оторвали меня от этого диспута, я ушел чуть не плача, потому что толком ничего не мог противопоставить аргументам, которые обрушил на меня мой отец (величие Ленина состоит в том, что он сумел применить марксизм к условиям новой действительности). Ты в черном платье подошла ко мне с бокалом в руке и пригласила меня танцевать, а я тебе сказал, что не умею, ты ответила, что это неважно, и посмотрела на меня так лучисто, так умоляюще; я поднялся и начал волочить ноги, как какой-нибудь профессор антропологии, я ведь действительно не умел танцевать и спросил, откуда у тебя явилась идея соблазнить отшельника, а ты развязно ответила, что поступаешь так всякий раз,

когда тебе нравится мужчина; я же с непозволительной ревностью пожелал узнать, часто ли тебе нравятся мужчины; тогда ты остановилась, приблизила свои губы вплотную к моему уху и выдохнула самый неожиданный из всех ответов: Сегодня — первый раз в жизни. Ты сказала это, но я тебе ни чуточки не поверил, потому что глаза твои горели, как ни у одной другой женщины; потому что губы твои приоткрывались так призывно, потому что груди твои не подчинялись бюстгальтеру, потому что каждый из гостей, проходивший мимо, так смотрел на тебя... Но еще хуже, чем выстрелы, это — если операция заранее станет известна врагу, если ее сорвет какой-нибудь донос, помешает осуществить какая-нибудь непредвиденная напасть, если схватят как какого-нибудь сопляка, если швырнут в дерьмо каталажки, если будут избивать прикладами, если будут оскорблять мать, если наденут наручники и будут плевать в лицо, если будут бить в пах, чтобы ты заговорил; выбивать зубы из окровавленного рта, чтобы ты заговорил; прижигать горячей сигарой соски, чтобы ты заговорил; тыкать револьвером в висок — и ты не знаешь, хватит ли у тебя мужества, сможешь ли ты вытерпеть все эти муки и не заговорить, Ампара. Клянусь тебе, я предпочитаю быть убитым на месте. А какой неожиданный сюрприз ты мне преподнесла там, в темном баре «Сабана Гранде», когда, пригубив красного «кампари», пробормотала смущенно, что будь что будет, но мы не можем не любить друг друга. И еще добавила совсем тихо, отведя глаза в сторону, что ты — невинна, но что это не является каким-то непреодолимым препятствием, именно так и сказала, в этих самых изысканных выражениях, и назначила мне свидание: Я буду ждать тебя в своей квартире ровно в одиннадцать утра. В этот час ты остаешься одна, без всякого надзора. Я действительно не верил в твою девственность, и мы разделись, как два любовника, привыкшие к нагоде друг друга, но ты в самом деле оказалась девушкой, и приглушила свою маленькую боль слабым писком мышки, и чуть окрасила простыни, и я понял, что ты сохранила это, что сберегла это для меня, каким-то фатальным образом для меня, и тогда... Сегодня я пойду к тебе в одиннадцать часов, в твоей квартире никого не будет, кроме

тебя; Николаса уйдет за покупателями, твоя мать еще не вернется с работы, у меня бушует кровь от желания снова почувствовать тебя, снова прикоснуться к твоим влажным губам перед тем, как вязаться в эту завалуху сегодня, в 4 часа 27 минут, но я тебе не скажу об этом ни слова, Ампара. Единственные плоды революции, которые зреют в твоём патио, — это стихи Маяковского и Ленинградская симфония Шостаковича. Ты ведь умеешь тонко чувствовать, Ампара.

Викторино рухнул замертво под немым деревом, на котором висел колокол. Призрак Алонсо Кихано — вчера вечером он начал читать «Дон Кихота» — отделился от водосточной трубы и простер к нему бесконечно длинные руки, чтобы поддержать. Стражник вместе со своей тенью, задыхаясь, неслись к Викторино вдоль известковой стены. Стражник сначала приписал падение Викторино усталости, а потом заподозрил злонамеренное бунтарство: Встаньте, Пердомо, встаньте, говорю вам. Дотронувшись наконец до его мертвенно холодных висков, приложив руку к затихшему сердцу, перетрусивший стражник заорал во весь голос, чтобы не остаться наедине с покойником. Внезапный переполох преждевременно втолкнул утро в серые коридоры лица. Сбежались воспитанники, закутанные в свои художочные одеяльца; один из них зажег свет в прихожей, второй побежал трезвонить о зверствах, апеллируя к властям. Притопал, задыхаясь от ярости, сам директор; покойник Викторино видел эту впечатляющую сцену.

— Он умер! — бляело стадо его товарищей, и под их испытующими взглядами директор заметно скисал, по его душе-самописке испуганно растекались чернила притворной виновности.

— Мы требуем, чтобы сейчас же сообщили его семье! Мы требуем, чтобы его осмотрел врач! — чеканил Вильегота, лучший друг Викторино, Вильегота, взъерошенный и насупленный.

Смерть Викторино, его собственная смерть, была для него одним удовольствием до тех пор, пока Вильегота, его лучший друг, не произнес этих гневных и волнующих слов. Требуем, чтобы тотчас известили его семью! Он представил себе свою Мать, рыдающую над ним, и

из головы вылетели все похоронные мечтания: Мать плачет, нет уж, лучше не умирать. Более часа он стоял неподвижным пугалом под колоколом в патио, ему оставался еще целый час до тех пор, пока придет регламентированный рассвет и ударит над его головой колокол: гнусный трезвон, возвещающий завтрак. Это наказание было неизбежным следствием той ночи, когда Мелесио, его сосед по кровати, донес на него, что он курит: Сигареты прячет под одеяло, бакалавр. На следующий день директор созвал всех воспитанников — от мала до велика — и публично швырнул в лицо Викторино самые мерзкие словечки из своего педагогического жаргона: «Хулиган! Дегенерат! Подонок!» — и все это из-за какой-то коробки сигарет «Капитолио». Ничего, я улажу это дело, подумал Викторино, надо только встретить Мелесио подальше от лицейской казармы, где-нибудь среди сосен или в зарослях бамбука и врезать ему так, чтобы кровью умылся, а еще лучше зуб вышибить — за донос. Бой был равным, потому что Мелесио оказался не из слабых, привык к наказаниям, неизвестно где научился ускользать от ударов, контратаковал, как баран, когда меньше всего ждешь. Они держались подальше от часовни, бой развернулся не на жизнь, а на смерть, и никакой пацифист не был бы в силах смягчить их души. Они осыпали друг друга отборной бранью и обливались потом в течение получаса, пока наконец Викторино не удалось выпустить немного красных телец из правой ноздри Мелесио. Тот тоже пустил кровь Викторино, ткнув головой в тот же самый орган обоняния. Когда вблизи запрыгала черная сутана отца Пелайо, Викторино уже успел повалить своего противника на кучу лиан, уже впился пальцами в его ябедную глотку, и победоносный конец сражения был совсем близок. Однако отец Пелайо разразился библейскими воплями («Исследуйте себя внимательно, исследуйте, народ необузданный», Кн. Сафония II, I) и кинулся разнимать их своими цепкими руками, накладывающими эпитимьи и отправляющими в рот эстремадурские колбаски.

На долю Викторино пришлось позорное наказание, а Мелесио досталось лишь поощрительное похлопывание по плечу — в этом учебном заведении шпионаж ценится как наивысшая добродетель, а непослушание ка-

сталось как самый тяжкий грех. И вот отныне в течение двух часов до завтрака Викторино должен был выстаивать под колоколом с раскинутыми в стороны руками, брезка от холода, если сосновый бор насылал на него холодный смолистый осенний ветер; шмыгая носом, если проклятый косой дождь заливал ему башмаки. И каждое утро, стоя под крестом, Викторино вскармливал свою ненависть, обдумывал планы мести.

Викторино пришлось сдать позиции. Умер он внезапно у подножия дерева, но вынужден был ожить, чтобы не подливать масла в огонь материнских мучений. Она писала ему отчаянные письма, не могла смириться с мыслью, что он заперт в этом лицее, но, что делать, иного выхода у них просто не было. Отец Викторино, непреклонный коммунист Хуан Рамиро Пердомо, все еще находился в заключении (на этот раз ему дали пять лет) в далекой тюрьме; мать сначала творила просто чудеса со своим гомеопатически-мизерным жалованьем школьной учительницы. На ее слабые плечи попеременно рушилась одна тяжесть за другой: плата за квартиру, башмаки для Викторино, плата за свет, жалованье Микаэле, книги для Викторино, расходы на еду, передачи для Хуана Рамиро. Но пришел такой день, когда остался только один выход: Викторино отправился в лицейский интернат, мать приняла благотворительное гостеприимство тети Сокорры. В моем доме всегда найдется для тебя постель и место за столом, сказала тетя Сокорра, она очень мудрая, эта тетя Сокорра. У нее дочь того же возраста, что и Викторино, которую зовут Кончита и которая в последнее время стала часто вздыхать без всякой причины, поэтому какое-то смутное беспокойство помешало тете Сокорре предложить две постели и два места за столом.

Пошел дождь, и предрассветная мгла лениво задохнулась в широких стеклах луж. Сторож похаживал вблизи Викторино, искоса наблюдая, держит ли он руки прямо и не сгибает ли ноги в коленях, в общем, точно ли выполняет прусские приказы директора. Время от времени Викторино клял бога почем зря, по его локтям бегали мурашки, невидимая тяжесть наваливалась на плечи; он старался незаметно расслабиться, чтобы не стоять все время по-военному, навтыяжку; иногда, на какую-то секунду, ему удавалось опустить руки — хоро-

по еще, что сторож на сей раз не был такой сволочью, как этого хотелось бы директору.

Рыжуха, воспитанник третьего года обучения, под наблюдением которого находилась аптека лицея, уже встал, чтобы пораньше засесть за зубрежку. Викторино издали заметил близорукого мученика в ореоле фонарного света — нос парня врезался в коричневый учебник физики. Нет, Рыжуха не был примерным студентом, какое там, но послезавтра экзамен по физике, и на всякий случай надо было вызубрить хоть несколько страниц — вдруг повезет и ответишь, чем черт не шутит. Ох, Рыжуха! Он давно уже пользовался заслуженной славой несправимого; тайно курил, как Викторино; затевал дискуссии на неприличные темы; подставлял подножки защитникам в дружеских футбольных матчах; втихую развратничал. Разгуливая среди сосен под морозящим дождиком, Викторино и Рыжуха вдвоем точили оружие мщениия, заботливо возвращали свою вполне оправданную ненависть к директору, к его холуям, к его троглодитской системе воспитания, к этим казарменным баракам, которые он (директор) ханжески именовал «лицеем». В одну из этих тайных вылазок в головах двух карбонариев родился план взорвать лицей.

В шкафах аптеки, которой командовал Рыжуха, платонически покоились необходимые для взрыва вещества: густой нитроглицерин с желтоватым отблеском и мелкий порошок апельсинового цвета. Два новоявленных алхимика пробирались в кладовую аптеки и готовили свою адскую смесь в самые безопасные часы — по утрам, когда отец Пелайо раздавал просвирки воспитанникам, которые шли причащаться, или по воскресеньям, заранее отказываясь от заманчивой прогулки в город. Отдавшись душой и телом изготовлению «алловредной панацеи», как ее называл Рыжуха, они отклоняли соблазнительную возможность побывать в Каррисалесе и поплескаться там в реке, а также принять участие в процессии с телом Христовым, где можно предаться греху сладострастия, разглядывая круглые зады прихожанок. Через три месяца лабораторных работ они накопили в своем крохотном пороховом погребе шесть почтенных по размеру динамитных пашек, снабженных мохнатыми фитилями, а также огромную дозу любопытства — что из этого выйдет, а, Рыжуха?

Поочередно вывели они свои снаряды на огневые позиции, истомившись желанием скорее отомстить за обиды и унижения. Один остался за сильно хлопающей дверью кухни, оскорбленный отвратительным запахом гнилых очистков и червивой фасоли. Другой в щели главного алтаря, как раз под молитвенником отца Пелайо, под этим сообщником его назойливых месс, которые набивают мозоли на коленях учащихся и забивают им головы сомнениями и церковными выдумками, — нет веры, способной устоять перед столькими молитвами, отец Пелайо. Третий снаряд ожидал своего часа в аудитории, где бакалавр Арисменди с коварным цинизмом распространялся о конституционных правах граждан при демократическом режиме. И наконец, последний, самый мощный и большой, особенно тщательно и любовно сделанный, притаился под легким стулом директора. Директор не будет восседать там в рассветный час освободительного взрыва, они об этом знали заранее, но то, что пустое сиденье взлетит на воздух, уже само по себе будет актом полезным и символическим, правда, Рыжуха?

Взрыв превзошел их самые смелые ожидания. Было шесть часов робкого октябрьского вечера, воспитанники гуляли по коридорам после окончания занятий; до вечернего колокола на ужин оставались считанные минуты. Рыжуха и Викторино тихо испарились; призраками скользя вдоль стен, они летели каждый к своему шнуру. Рыжуха зажег два шнура на северной стороне, Викторино поднес пламя спички к двум другим на южной; затем они вернулись другим путем и встретились в начале коридора, включившись без лишнего шума в разговоры и споры: Как я тебе уже говорил... Я решительно не согласен с расстрелом Пиара¹... Они так скоро вернулись, что никто не заметил их отсутствия. Первым рванул снаряд на кухне, его вулканический взрыв вышиб металлические двери, громовым раскатом воспроизвел полифоническую фугу на цинковых кастрюлях и тарелках; опалевший и вопящий повар взметнулся огненным шаром среди взлетевших обломков. Затем настала очередь часовни, глухой взрыв второго снаряда

¹ Мануэль Пиар — активный деятель национально-освободительного движения в Венесуэле в начале XIX в.

попортил ее интерьер. Пресвятую деву дель Кармен раздолбало на части! — заорал Вильегота. Рыжуха и Викторино пережили несколько патетических секунд в напряженном ожидании третьего огнеизвержения. В них так и взыграла душа, когда третий взрыв настежь распахнул двери дирекции, рухнули навзничь два рахитичных второкурсника, а от кресла тирана не осталось ни ножек, ни ручек. Лишь снаряд, подкинутый во владения бакалавра Арисменди, не сработал; то ли были изъяны в его конструкции, то ли случились неполадки со шнуром, но это — неважно; лавровый венок все равно увенчал героев-нигилистов, правда, Рыжуха?

Но Рыжуха испугался и Викторино тоже, когда заговор еще находился на стадии предварительных обсуждений. Обидно, и теперь, стоя под ножом первого тихого солнечного луча, Викторино особенно сожалел об этом. Их хватило только на то, чтобы списать формулу динамита и рассматривать влюбленными глазами прозрачные пробирки, которые кокетливо изгибались перед ними за стеклом аптечного шкафа. Теперь же ни одно враждебное ему божество не воспрепятствует смерти Викторино под колоколом, освободив его прежде всего от гнусной пищи в этом свинарнике, где ею пичкают в дисциплинарном порядке: Суп надо есть обязательно, Пердомо, ешьте суп. На каком только вонючем рынке находил повар, если его можно было назвать поваром, эту рвань с костями, эту обсосанную фасоль и гнилой маис, из которого делают эти вязкие лепешки? — думал он. Мать гремит сковородками, стоя у газовой плиты спиной к столу, накрытому белоснежной скатертью, а Викторино сидит за столом, облокотясь на него и зажав в руках вилку и нож. Мать зажарила на обед кусок сочной, жирной свинины, Викторино слышит, как потрескивает жир аппетитным токкато, как в резвом аллегретто раскрываются лепесток за лепестком бутоны жарящихся луковиц. Мать подходит с большим белым блюдом, в центре которого — золотистая отбивная котлета, ее великолепие охраняет целый эскадрон жареных картофелин и пара кровавых перцев-преторианцев. В этот трогательный момент над горем Викторино трижды ударил колокол, призывавший к так называемому завтраку. Не так-то просто умереть, подумал он.

ВИКТОРИНО ПЕРЕС

Викторино распахивает дверь ударом ноги и начинает постепенно тонуть в своем несчастье. Первая беда — мятая рубашка на стуле и нижняя юбка на полу, как поверженное боевое знамя; первая беда — красное с бисером платье, которое Бланкита давным-давно не надевала. Викторино даже подумал, что она заложила платье, продала или, наконец, подарила соседкам. Вторая беда встречает его, когда он поворачивает искаженное лицо к постели.

Волосы Бланкиты разметались по подушке тонкими витыми струйками, струйками бриллиантина и пачулей; все ее одеяние — рубашонка, не доходящая до колен и позволяющая видеть темный треугольник. Рядом с головой Бланкиты под острым углом расходятся врозь мужские ноги в белых носках. Поза этого типа весьма отличается от традиционной; на нем нет ничего, кроме белых носков, в каких дети ходят к первому причастию, и коротких жокейских трусов.

Викторино сразу узнает в нем метиса по прозвищу Маракучито, который неизвестно чем занимается, — даже не вор. Маракучито проводит все субботние вечера у стойки в «Раю», с индейской апатичностью наблюдая, как оседает пена в кружке с пивом, и никакой музыке не удается соблазнить его потанцевать; равнодушно-привычным оком завсегдатая взирает он на девок, шмыгающих в туалет. Крисанто Гуанчес уверял, что метис — платный шпик и поставляет сведения полиции, но эти обвинения не подтвердились — просто Крисанто Гуанчес не верит никому.

Маракучито тоже узнает его; мгновенно прихлынувшая к ноздрям кровь подсказывает Маракучито, что он

попал в трясину, из которой не вылезти. Недовольная гримаса, появившаяся, когда кто-то стал нетерпеливо колотить в дверь, исчезла; остался страх загнанной крысы, стремление побороть паническую растерянность, которая наверняка его погубит, если ей удастся сковать его движения. Он сразу заметил, как судорожно скрюченные пальцы Викторино поползли к карману брюк, увидел, как блеснула рукоятка ножа в полумраке, услышал весьма симптоматичный звук выскочившего клинка. Метис чувствует, что его единственный, ненадежный, рискованный, и все же единственный путь к спасению — это дверной проем, хотя вооруженная рука Викторино и блокирует этот путь. Инстинкт самосохранения или логика индейских предков, отфильтрованная в его крови, подсказывают ему, что самая большая опасность — ждать внутри комнаты: Викторино все более разъяряется по мере того, как длится это оскорбительное зрелище; Викторино все более утверждает в своей злобной решимости по мере того, как приходит в себя. Оцепенело скорчиться в темноте — значит дать прирезать себя, как борова. Маракучито скатывается с кровати в своих жокейских трусиках и белых носках, вплотную притирается к стене и пядь за пядью преодолевает злополучные два метра, отделяющие его от двери. Он движется, не отрывая глаз от черного кулака, сжимающего нож, и, когда этот кулак делает молниеносное движение, Маракучито рывком подается назад, будто изогнулась плеть или колыхнулось пламя, и острый клинок разрезает воздух в трех миллиметрах от его тула. Из самого его нутра вырывается жалобный хрип:

— И ты убьешь меня, брат, из-за проститутки, из-за дешевой шлюхи? — говорит слюнявый бледный мозгляк, опершись о розовую доску умывальника.

И из-за того, что он сказал эту грязь, я не убил его, Бланкита, хотя он прав,— была ты и проституткой, и дешевой шлюхой, но для меня ты жена, это мое дело, и не ему об этом судить. Когда же он сказал эту грязь, Бланкита, вместо того чтобы пригвоздить его к доске умывальника, я крикнул ему: Забирай свои штаны и чеши отсюда, сволога! Он не стал дожидаться, пока я повторю, кинулся ястребом к стулу, схватил штаны и рубаху и — как ветром его сдуло, даже на башмаки

не взглянул, вылетел в дверь, потом вниз по лестнице, из гостиницы неся сломя голову до самых холмов Гуаратаро.

Затем Викторино прислушивается к твоим всхлипаниям, Бланкита, они будто ручеек, струящийся из под кирпичного пола:

— Не убивай меня любовь моя клянусь тебе я не сделала ничего плохого клянусь моей матерью я знаю ты мне не поверишь я вчера вечером напилась в «Раю» все вспоминала о тебе и напилась как сумасшедшая ты ведь знаешь любовь моя что я очень боюсь спать одна когда голова кругом идет и мне кажется что ко мне придут мертвецы и тогда я сказала Маракучито чтобы он отвел меня в эту гостиницу и он остался ночевать со мной было уже очень поздно я легла ногами туда а он ногами сюда я знаю любовь моя что ты мне не поверишь но мы не делали ничего плохого клянусь тебе моей покойной матерью не убивай меня...

Бланкита ошибается. Викторино и не думает убивать ее, а только чиркнуть по ней раз-другой ножом, чтобы оставить на ее теле вечную память о том, что она проделывала, пока он сидел под арестом. Для начала он резанул бы ей грудь, которую обнажила рубашка, грудь, с дрожащим, темным, как терновая ягода, соском. Он медленно приближается к вороху простыней, где она скулит; Бланкита уже ощутила холод стали на своей коже, и угрем метнулась к стене — он едва успел оцарапать ей одну грудь. На царапине показывается кровь, это правда, но ее так мало, что шрам едва ли останется.

Так она лежит, в узком тушике между ножом Викторино и стенкой, спиной к нему, беззащитная, все еще лепечет ненужные слова: Я ничего не делала плохого. Не убивай меня, любовь моя. Рубашка поднялась на бедрах, и ее шоколадные ягодицы распалиют его, две круглые вазы, обнаженные и блестящие, ее шоколадные ягодицы. И он решает во имя справедливости полоснуть по ним, на сей раз его рука не может дрогнуть, и она не дрогнула, — получился отличный крест: один разрез сделала природа, другой он. Бланкита не смогла сдерживать пронзительный крик, но тотчас раскаялась в том, что вскрикнула: их дела не должны выходить за стены этой комнаты. До сих пор она только тихо всхли-

пывала и упрашивала, сведение счетов — это их дело, только их и более никого. Ты хочешь убить меня, любовь моя?

Рана на ягодицах весьма отличается от той, что на груди, скорее напоминает длинный и глубокий надрез, сделанный рукой мясника. В нем пульсирует ткань красивого порпурного цвета. Вот только портящая все дело кровь заливает простыни, чернит розочки на матраце, одна капелька уже упала, клюнула кирпичный пол. Руки Бланкиты пытаются схватить правый кулак Викторино, тот, где нож; она цепляется за него, сотрясаясь от пяти слов, которые повторяет, как старый фонограф: Не убивай меня, любовь моя; Не убивай меня, любовь моя; Не убивай меня, любовь моя, — пока Викторино своими губами невольно не стирает мокрую соль с твоих глаз, потому что он никого и никогда не любил так, как любит тебя, Бланкита. И, любя так сильно, он потерял голову, когда увидел тебя в кровати с другим женщиной; и, любя так сильно, он сам страдает от раны, зияющей у тебя сзади. Твоя кровь, словно тряпка, стерла все, что ты натворила. И он целует твой рот, еще пахнущий табаком и мятой, и ревет, как последний дурак, вместе с тобой.

У подножия лестницы оперным Спарафучиле замер итальянец на фоне замызганных и зловонных декораций коридора. Викторино, хромая, спускается вниз по ступенькам — вывихнутая нога еще болит, — и обеими руками поддерживает раненую женщину.

— Per la Madonna! Che hai fatto? ¹

Физиономия итальянца превратилась в деревянную маску, украшающую нос корабля, — маска из мореного дуба над красными следами, которые оставляют пятки Бланкиты.

— Carogna, che non sei altro! ²

Викторино ведет ее бережно и нежно в вестибюль, прислоняет, как куклу, к дверному косяку; двое прохожих мельком взглядывают на нее и идут дальше, так и не поняв, — парализованная ли это женщина или мертвый манекен. Викторино, отчаянно размахивая руками, останавливает такси.

¹ Святая Мадонна, что вы сделали? (итал.)

² Сдохнет, не иначе (итал.).

— Отвези ее в пункт Скорой помощи, маэстро! У нее кровотечение, маэстро!

Шофер по одному его виду понял, что речь идет не о кровотечении, а скорее о кровопускании; со скрежетом зубовным помогает опустить ее на заднее сиденье. Бледная как мел Бланкита не может ни говорить, ни стонать; ни даже слово на прощание из себя выдавить. Викторино сунул шоферу монету, которую получил от мотоциклиста, и все повторяет настойчиво:

— Вези ее в пункт Скорой помощи, быстрее, маэстро!

Шофер, перед тем как тронуть с места, бросает на него злобный взгляд; нетрудно себе представить, о чем он думает: Повезло же мне с утра. Эта женщина вымажет кровью все сиденье. Уже вымазала. Если полиция узнает, а она обязательно узнает, впутают меня во всякие допросы и очные ставки, — тем не менее он все же рванул вперед, машина с Бланкитой завертывает за угол, а Викторино все еще одиноко торчит посреди улицы, забыв, что брюки залиты кровью, и чувствует себя брошенным, как дохлая лошадь. *Бланкита, я тебя очень люблю, за что ты меня так оглушила?*

— Ты помнишь дона Сантьяго? — вдруг спросил Викторино, чтобы что-нибудь сказать. Ему надо было разорвать тишину, которая начинала угнетать и давить как камень; ему хотелось бы кинуть горсть пепла в открытые глаза Крисанто Гуанчеса, чтобы притушить их мертвенный блеск. Через окно, распахнутое в овраг, слышались заунывные псалмы петухов.

— Ты помнишь дона Сантьяго?

Крисанто Гуанчес отлично помнил дона Сантьяго, но не отвечал, как не ответил бы ни на какой другой вопрос. Дон Сантьяго был любезный и услужливый галисиец, скромный и неболтливый, — старик что надо, они часто к нему заглядывали, когда начали воровать. Викторино стал заниматься мелкими кражами не по призванию и не потому, что хотел нажиться, — просто он желал стать достойным своего нового друга Крисанто Гуанчеса, дерзкого пирата с острова Такаригуа. Так, например, по какой-то счастливой случайности у тротуара одной пустынной или полупустынной улицы оказался красный мотоцикл, — черт знает, куда делся его закон-

ный владелец! Почему было не сесть на него верхом и не отправиться спокойненько вниз по улице? В мастерскую дон Сантьяго можно было попасть из широкого коридора без крыши; к заплесневелым стенам прислонялись заржавленные колеса и куски труб. Потом надо было пройти еще через две двери и пробраться через кучи металлолома, прежде чем окажешься в клетушке, где дон Сантьяго работал с чисто галисийским трудолюбием; его плоскогубцы и молотки не знали ни воскресений, ни праздничных дней. Почтенные седины и очки, поднятые на лоб, придавали дону Сантьяго вид уважаемого старца. Да и кто бы отважился подумать иначе, глядя на него? Вы являлись к нему, таща с собой мотоцикл и делая вид, что хотите починить какую-то испорченную деталь. Дону Сантьяго было достаточно бросить один взгляд на покрышки: Даю тебе двадцать боливаров за него! Вы начинали торговаться, речь, мол, идет о почти новом «ралейе», дон Сантьяго немного набавлял цену, если был в хорошем настроении, а вы уходили через главный вход, уже без мотоцикла, гордо насвистывая популярную песенку «Вот бредет крокодил в Барранкилью...». А потом оставалось только сменить номер, перекрасить мотоцикл в менее кричащий цвет, заменить некоторые детали и перепродать — кто его знает за сколько. Всеми этими мелочами занимался дон Сантьяго, для этого он заводил влиятельные знакомства и, конечно, пользовался при этом всеобщим уважением.

— А ты помнишь американку из Бельомонте? — Викторино прибегнул к средству, которое всегда, даже когда они проводили скверную неделю в тюрьме Планчарт, заставляло улыбаться Крисанто Гуанчеса. Но на этот раз он не улыбнулся, а продолжал лежать, уставившись в потолок остановившимися глазами. Летучая мышь, лишенная темноты, билась о стены, начинавшие светлеть.

В ту пору, когда случилось происшествие с американкой из Бельомонте, они уже не были новичками, похитителями велосипедов, о нет, в ту, правда, не очень далекую пору они уже специализировались на похищении дамских сумочек. Именно дон Сантьяго удостоил их доверия, снабдив легальным мотоциклом в счет будущих нелегальных доходов. Викторино медленно ехал за женщиной и ее сумкой, Крисанто Гуанчес сидел за егѳ

спиной, они старались поравняться со своей жертвой на участке, где движение было небольшим, затем следовал писк, вернее сказать прыжок тигра, — и женщина оставалась без сумочки. Крисанто Гуанчес бежал с добычей метров десять, чтобы догнать мотоцикл, Викторино тут же поддавал газу, оставляя за собой вонючую серую струю и грохот, в котором тонули крики жертвы. Ей-богу, смех было глядеть на немногих остолбеневших свидетелей.

Американка вышла из банка Бельмонте с высокомерным видом, который появляется у одиноких женщин, когда они становятся обладательницами чека на кругленькую сумму. Это была рослая, рыжая воительница из тех, что мелькают на экранах телевизоров во главе нью-йоркских пожарных или карнавального шествия в Новом Орлеане. Викторино наслаждался преследованием — пляшущие бедра американки заслуживали Нобелевской премии и ордена Почетного легиона. Неожиданным оказалось то, что атака Крисанто Гуанчеса захлебнулась: сумку не удалось оторвать даже вместе с рукой; американка, наверное, была чемпионкой по теннису или какому-либо мужскому виду спорта.

Крисанто Гуанчесу не оставалось ничего другого, как вцепиться в сумку и дать этой тренированной даме такого пинка, что она выпустила из рук сумку, взвизгнула, да так и осталась голосить на безупречном английском языке: *Police! Police!*¹ словно находилась на площади Пикадилли.

И если сцена грабежа была прелестной, развязка превзошла все ожидания: открыть кожаную сумку у поворота железной дороги на Пало Гранде, почувствовать ароматное дуновение, исходящее от невиданно толстой пачки денег, пошуршать роскошными новенькими бумажками по 500 боливаров каждая — какое наслаждение! Они обрядились в элегантные костюмы из английского кашемира и держались запросто с офицерами и адвокатами в кабаре. Викторино тогда впервые увидел Бланкиту в «Раю», и лучше бы не видел. Крисанто Гуанчес влюбился в рыжую девицу, которая в пылу страсти наградила его гонореей.

Но этот, другой Крисанто Гуанчес, распластавший-

¹ Полиция (англ.).

ся на потрескавшихся досках и сухом дерьме, оглушенный тишиной, которая плыла по пустому дому, устремивший немигающий взгляд в балки потолка, не желал вспоминать ни о чем. Кровавая парабола тянулась от его вспухших губ к затылку, ножевая диагональ пересекала голую грудь. Этот домишко, затерянный в крутом овраге, не принадлежал никому, даже влюбленные парочки не отваживались устраивать тут ложе, опасаясь змей; в этой хижине шныряло только мелкое хищное зверье да встречались тайком бродяги.

Ночь, которая заканчивалась для них обоих сумерками позорного рассвета, торжественно началась их первой большой кражей, первым вооруженным нападением, посвящением в настоящие бандиты. Они уже приобрели славу ловких охотников за дамскими сумками, и поэтому вполне понятно, что вчера утром к ним подошел Кайфас, когда они бесцельно прогуливались среди лавчонок на Кинто Креспо, к ним подошел Кайфас и сказал: Мне нужны два тёртых кореша для дела, клюете?

Они клюнули. Но первое вооруженное ограбление, которое так волновало их, пока готовилось, потому что впервые они действовали вместе с матерыми налетчиками, само по себе не произвело на них особого впечатления. В памяти Викторино оно сохранилось как отдаленное подобие надоевшего американского боевика: общим планом — поворот к улице Санта-Моника; средним планом — продовольственный магазин, человек с висячими усами становится на дыпочки, чтобы опустить металлические жалюзи; снова крупный план — в кадре появляется Кайфас, нацеливает дуло своей «пушки» на брюхо лавочника; средний план — Крисанто Гуанчес и Викторино в один миг опустошают кассу; замедленная съемка — три бандита дубасят лавочника, Кайфас оглушает его рукояткой револьвера; последний кадр целиком заполняется физиономией лавочника, пытающегося что-то сказать. Новая сцена, в кадре — автомашина, которая останавливается за ближайшим углом. Музыка нагнетает напряжение. Крупным планом — Кубинец за рулем. Камера перемещается в автомашину. Через ветровое стекло в фокусе улица; камера возвращается внутрь магазина, средний план — в углу, за прилавком с коробками и бутылками три бандита находят пачки банкнот; общий план — бандиты с добычей выходят на

улицу, лавочник распростерт на полу, с его лица ручьем льет кровь на белый мешок с мукой. Снаружи крупным планом Кубинец за ветровым стеклом, Кубинец закуривает сигарету и включает зажигание, во время дальнейшей сцены слышится шум мотора; средний план — три бандита бегут к автомашине; общий план — они открывают дверцы и влезают в автомашину; быстро мелькают кадры — автомашина летит, сворачивает налево в третий переулок; съемка замедляется, крупным планом та же самая улица, что и в начале эпизода; тот же самый ракурс, победная музыка. Далее экран завлакивается кровью, которая заливает и его, болит разбитая ключица, саднит от ожогов и побоев тело. Что касается Крисанто Гуанчеса, то он не хочет вспоминать абсолютно ни о чем.

Кошмар начался тогда, отвратительное глумление началось тогда, когда они перешагнули порог лачуги, затерянной в глубоком, крутом овраге. До этого логова спустились они вдвоем, следуя за Кайфасом и Кубинцем, после того как бросили автомашину на какой-то уединенной аллее. Они пришли сюда делить добычу, участвовать в нерушимой церемонии. Неожиданно из тьмы вынырнули еще двое, чьих морд никогда ранее не видел Крисанто Гуанчес, чьих имен никогда не слышал Викторино. Они не участвовали в деле, но притащили три бутылки рома и пакет содовых таблеток, торопливо рассыпали пастилки, розоватые в свете фонаря, высокого, как пальма, широкого, как шимпанзе, и слабого, как шахтерская лампа.

Викторино и Крисанто Гуанчесхватили рома, чтобы не выглядеть молокососами, но отказались от содовых таблеток, хотя и рисковали упасть в глазах своих матерых товарищей. Затем они притаились в углу комнаты — придет же когда-нибудь время справедливого распределения добычи. Который теперь час, Викторино? Он прикинул: должно быть, половина второго. Кайфас, Кубинец и два чужака пили прямо из горлышка в другом конце лачуги, развлекались грязными анекдотами, но начинали с конца, а потом, не зная, что еще добавить, раздражались идиотским хохотом, рыгали и издавали прочие непристойные звуки. Вдруг они притихли. Словам жуткую тишину, один из пришельцев, тот, кого другие называли Бешеный Пес, сказал:

— Давайте поиграем с этими сопляками!

Викторино и Крисанто Гуанчес сначала восприняли эти слова как глупую шутку пьяных, какую-то секунду перед ними маячила надежда, что речь не о них — ведь они уже не сопляки, не мелюзга паршивая, а два равных сообщника, которые только что рисковали свободой и жизнью, участвовали в мужском деле и теперь, как мужчины, сидели на корточках и терпеливо ждали своей доли. Но в ответ на предложение Бешеного Пса послышалось одобрительное мычание остальных. Бешеный Пес был сущим дьяволом, к тому же в голову ему ударил ром, поэтому в его голосе и в словах чувалось что-то особенно страшное. Кайфас уже направлялся к ним, мало что соображая:

— А ну, скидывай одёжу, ребята, сейчас мы повеселимся!

Викторино и Крисанто Гуанчес, поняв, что им угрожает, кошачьим прыжком кинулись к двери, но натолкнулись на гиганта с фонарем, которого звали Мохнатый Бык; он загородил собою дверь и, оттолкнув, заставил отступить, Викторино сунул было правую руку в карман, чтобы нащупать нож, но Кайфас одной ручищей, как тисками, сжал оба его запястья. Кубинец и Бешеный Пес волоком оттащили в сторону Крисанто Гуанчеса. Напрасно он пытался вырваться, напрасно осыпал их проклятиями. Отпустите меня, сволочи! Викторино стоял, одинокий и беззащитный, перед Кайфасом и Мохматым Быком.

— Сначала вам придется убить меня! — Двое мужчин, оглушенных ромом, не поняли, что Викторино прокричал жестокую правду; с него содрали одежду, загнали в темный угол и на его отчаянные попытки кусаться или вырваться отвечали ударами, которые гулко сыпались на ребра Викторино, как комья глины на гробовые доски. Кайфас гнусаво приговаривал:

— Ну, ты, негритенок, не брыкайся, все равно не вырвешься.

Мохнатый Бык вывернул ему левую согнутую руку за спину и тянул ее кверху, часто и резко дергая, острая, невыносимая боль нарастала.

— Ой, руку ломаете, подонки проклятые!

— Говорят тебе, не брыкайся, негритенок, — отвечал Кайфас. Борьба продолжалась несколько минут. Впро-

чем, кто знает сколько? Пьяные громилы разбили ему переносицу, сломали ключицу. Кайфас прижег ему мопонку зажженной сигаретой, содрал кожу с ягодиц своими хищными когтями. Викторино в тоске подумал, что его сейчас убьют, почувствовал, как к самому горлу подкатил холодный комок и стал душить, и это, наверное, и была сама смерть.

— Ну-ка, давайте сюда! — послышался вдруг рык Кубинца из соседней комнатухи.

И только тогда они оставили его, почти потерявшего сознание. Он уткнулся позеленевшими губами прямо в грязь, с трудом перекатывая во рту проклятия и бранные слова: Чуть не убили меня, сволочи. Потом погрузился в какой-то обморочный туман; по временам издали доносились наглые смешки Кайфаса; боль в ключице не давала ему совсем лишиться чувств. Зброшенный домишко вновь обретал гибельную таинственность.

Они ушли с добычей, оскорбляя рассвет своей пьяной икотой, они забыли в доме фонарь, оставшийся гореть среди пустых бутылок. Его ленивый отблеск напомнил Викторино, где он находится, Крисанто Гуанчес лежал, вытянувшись, в темной луже, израненный и окровавленный, как и он сам. Богохульства Крисанто Гуанчеса возносились прямо к небесам, он не смог перенести зверских пыток, жуткой непрерывной боли, его едва не придушили.

Крисанто Гуанчес, истерзанный и опозоренный, не вспоминал более ни о чем, не обращал никакого внимания на сострадательные уловки Викторино. Его едва не придушили, его измяли, он не смог выдержать. И теперь он не сводил с потолка безразличных мертвых глаз.

ВИКТОРИНО ПЕРАЛЬТА

Викторино привел свой «мазератти», чтобы его благословил взор Мальвины. У Мальвины увлажняются ладони рук, ей все равно — приедет ли он на осле или в санях. Главное, что он приехал, она его ждет с самого завтрака, одетая в белое платье, а теперь делает вид, что поливает клумбы в саду. Мальвина — высокая, почти такая же высокая, как Викторино; под глазами у нее синева, настоящая, хотя это уже и не модно; глядит невесело. Она влюблена в Викторино с того самого дня, когда впервые взобралась на его мотоцикл, когда тесно прижалась к его спине в легкой рубашке, которая приятно щекотала ее едва обозначившиеся юные груди. Потому с той поры она стала сосать ментоловые карамельки и зачитываться комиксами — Викторино мог перевоплощаться в Супермена, Попейе¹, или Мандрейка, или в любого другого героя, в какого только захочет. По мере того как они росли, Мальвина влюблялась все больше, и вот под глазами у нее синь, на совести — уже два года тайных поцелуев и запретных ласк. Викторино пытается идти дальше, до самого конца; он тысячу раз умолял ее об этом, старался обойтись и без мольбы, но она прекрасно знает, она предугадывает движения его души — после того, как он овладеет ею, он не будет ее любить по-прежнему, да, это не предрассудок — он не будет ее любить по-прежнему, как не любит по-прежнему те вещи, которые ему уже принадлежат. Мальвина в этом уверена, поэтому она упирается, сгорая от страсти в его объятиях, до смерти желая раскрыться, как раковина, под нажимом упрямых коленей Викторино:

¹ Попейе — «бравый моряк».

Не капризничай, любимая моя. Он целует ее, как, наверное, целовал сам царь Соломон, он просит у нее нежности, которую она хотела бы дать ему, не может дать ему. Все остальное в жизни Мальвины не имеет значения: занятия в католическом французском колледже (*Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, et caetera*¹); фортепьяно, развращенное томными сентиментальными вальсами; два сорокалетних друга дома, которые были бы непрочь на ней жениться; оупляющее чтение благопристойных романов — мать не разрешает ей читать романы сомнительного содержания. Сегодня день рождения Викторино, и он не приехал в назначенный час повидать ее. Единственная отрада в этом скучном мире — греховное сопротивление объятиям Викторино, нет, нет, и нет с дрожью в голосе, нет и нет, затрудняющее дыхание и бросающее синеву на ее веки.

Викторино оставляет «мазератти» на аллее и идет к Мальвине, которая тоскливо ждет его, окруженная маргаритками и папоротниками, овейная светским запахом малабаров, состязающаяся в аристократической утонченности с орхидеями.

Они входят в дом. Мальвина уже рассыпала восхищенные ахи и охи по поводу сверкающих на солнце частей автомобиля: Это что-то дивное. Они лавируют среди лиможского фарфора, ковровый кардинальский путь ведет их прямо к библиотеке.

— Я не приглашен на празднество к Лондоньо, — говорит он, задерживаясь перед дверью и пропуская ее вперед. Тогда я тоже не пойду, говорит она. Ответ, который он предвидел.

Библиотека — самое укромное место в доме, ее атмосфера пропитана дыханием пожелтевших пергаментов и замшевых переплетов, Гаруна аль-Рапида и Виктор Гюго. Голубоватое окно смягчает резкий наружный свет — надо зажечь лампу, если хочешь расшифровать золоченые угасшие буквы, если желаешь разглядеть клейменные хребты книг. Викторино и Мальвина не зажигают лампы.

Один-единственный портрет оживляет полутьму

¹ Из католической молитвы «Ave Maria» (*франц.*), соответствует русскому «Богородице, дево, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой»...

зала, поглядывая на свою собственность, ограниченную, правда, небольшим пространством между парчой на окнах и красным деревом шкафов,— это портрет доктора Хасинто Перальты Эредии, адвоката с рождения, экс-сенатора республики, члена правления и акционера многих обществ, хозяина этого дома, отца Мальвины, дяди Викторино. Его сияние не меркнет и в этом помещении — солнечные крупинки, сеющиеся сквозь окно, почти все оседают на его ясном лице, а к вечеру прислуга зажигает неоновую рамку, бросающую на портрет мертвенный отсвет,— ему ни секунды не дают остаться наедине со своими бархатными покоем. Юридическая премудрость змейками бороздит дядюшкино светлое чело; деньги, текущие в его бумажник, придают влажный блеск огромной жемчужине, озаряющей его черный галстук. Портрет исполнен в академической манере, однако не лишен выразительности; творение испанского художника, конечно прославленного, придворного живописца короля Альфонсо Тринадцатого и прекрасной Отеро¹,— дон Хасинто Эулохио не рискует доверять свою физиономию бунтарской мазне национальных художников.

«Всякий триумф — это результат долгих и целеустремленных усилий», — подобными афоризмами раздражается портрет. Живой и здравствующий дон Хасинто Эулохио, всецело поглощенный трелями телефонов, мурлыканьем на заседаниях правления, беготней по коктейлям в честь бракосочетаний, разводов и похорон своих бесчисленных друзей, дон Хасинто Эулохио во плоти и крови не имеет свободного времени для умиротворяющего философствования. «Моя биография — сплошное усилие воли и разума, я создал этот дом с единственной, но добродетельной дочерью, я не расточал нерасточимые богатства, унаследованные от нашего отца,— это я говорю для моего брата, Архимиро; я не собираюсь создавать из наследства лирические миражи, как Анастасио, мой второй брат, младший,— Анастасио вбил себе в голову развитие промышленности в этой стране, по уши увязшей в долгах. Мои личные капиталы — портрет дон Хасинто Эулохио в глубине души сожалеет, что художник не снабдил его улыбкой благополучия,— мой

¹ Имеется в виду Ла Бель Отерб, французская эстрадная певица начала XX в.

капиталы находятся в Англо-Американском банке. После Кубы никто не знает, что может случиться в этой мутной круговерти, которая нас окружает! Итак, мои личные капиталы составляют 840 тысяч 807,83 доллара, помещенных под восемь и пять восьмых процента годовых. Этот отчет я получил неделю назад, я еще помню цифры с точностью до десятых, у меня память Юстициана».

Викторино и Мальвина огибают кожаные кресла и докучливые энциклопедии. Разгулявшаяся молодая кровь гонит их в самую глубь библиотеки, туда, где стена юридических фолиантов и ее *gnosis*¹ служат им надежным укрытием. Внимание, дамы и господа, игра начинается! Мальвина лицом к преследователю, более не сдерживаясь, сама забивается в угол, спиной к шкафам с трудами римских законников. Только гелиотропы ее дыхания отделяют ее от атакующей команды, мяч поставлен в центр поля, судья смотрит на свой секундомер и дает свисток, центральный нападающий устремляется в атаку.

«Остальное я предусмотрительно вложил в недвижимость и ипотеки. Справедливости ради следует добавить, — продолжает с цитероновским красноречием разглагольствовать портрет дона Хасинто Эулохио, — что основная суть или, скажем, «Сезам, откройся» моих успехов заключалась в моей способности постичь до мелочей психологию этой страны, или, лучше сказать, психологию людей, управляющих этой страной, а именно генералов в мундирах, политиков-прагматиков и нефтяных воротил (в свое время — *in illo tempore* — правила и латифундисты, ныне ставшие добропорядочными старичками, набальзамированными мумиями, вымогателями субсидий, но кому сейчас придет в голову вступать в стовор с производителем какао для того, чтобы сделать его членом правления «Стандарт ойл»?). Психология генералов в мундире: основное устремление генералов в мундире — нагнать на нас побольше страху, следовательно, надо проявлять страх. Психология политиков-прагматиков: им необходимо показать, что у тебя на руках сейчас столько же карт, сколько у них, то есть сорок процентов из пакета акций. Психология нефтяных

¹ Знания, мудрость (*греч.*).

воротил: у них нет никакой психологии, но есть логика, и надо примениться к их логике».

Викторино и Мальвина растворяются в поцелуе, и даже трубы Апокалипсиса не смогли бы оторвать их друг от друга. Она чувствует, как под ее языком маленькой сладкой горячей змейкой вьется его язык, как скользящая рука корсара берет на бордаж ее груди, и выдыхает свои первые «нет», томно и уступчиво. Другая рука Викторино нежно опускается по ее спине ниже талии, чтобы крепче прижать ее живот к себе, к к самому корню мужчины. Викторино прерывает поцелуй, чтобы увлажнить ее губы серией противоречивых наименований: Моя королева, Моя собаченька, Мой персик, Моя жаркая печка, Мои любимые волосы, Моя дьяволица, Моя святая, Моя любовь.

«Кроме того, — изображение дона Хасинто Эулохио продолжает расточать себе велеречивые социологические похвалы в этот сверкающий ноябрьский полдень, который шлет ему бодрые световые сигналы сквозь тусклое оконное стекло, — кроме того, я обеспечил себе прочное общественное положение и вес в жизни нации, хотя с виду мое поведение может показаться пассивностью, абстентизмом; а именно: я никогда не лез в министры, никогда не был министром, никогда не буду министром. Сколько людей в Венесуэле погубили свое блестящее будущее, свою блестящую карьеру, ослепленные идиотским желанием развалиться в черном «кадиллаке», на номере которого однозначное число! Уважающий себя общественный деятель не имеет права ставить в зависимость от какого бы то ни было правительства свою репутацию, а тем более принимать из рук правительства министерский портфель. Подумайте, друзья мои, об ответственности, о не зависящих от тебя осложнениях, которые связаны с выполнением обязанностей министра. На совести министра путей сообщения — процент убитых, за которых несет ответственность министр внутренних дел; доброе имя министра юстиции почему-то зависит от рытвин, которые затрудняют сообщение в нашей стране. На плечи министра здравоохранения ложится изрядный груз контрабанды, которую ввозят через наши продажные таможи. А если в один прекрасный день правительство низлагается, к власти приходят военные мятежники, как это

обычно бывает, и, не успеваешь оглянуться, с окрестных гор спускаются толпы, обуреваемые желанием растащить библиотеку министра иностранных дел и помочиться в его китайский фарфор и на полотна Утрилло. Друг правительства — пожалуйста, министр — никогда. Таков был бы девиз, обрамляющий мой герб, если бы в нашей стране была в ходу эта геральдическая чепуха».

Бедра Мальвины подчиняются ритму Викторино, бурно несутся они на медовой волне необъятного моря, она невольно вонзает ему ногти в спину, воркует, как голубка, слова нежности, о которых раньше и не думала, ее влажные лепестки сотрясаются под напором тренированного тела Викторино, он сторает в: *дай мне твои губы, моя любовь, я их потерял, умри со мной, любимая, я ничего не вижу, я ослеп.*

И вот свершается (и не свершается — они же одеты) непочтительный акт по отношению к портрету дядюшки Хасинто Эулохио. Ничего, Викторино, вперед! Дядюшка погрузится в трясины церковного права или сделает вид, что ничего не замечает, если так угодно богу.

Такого еще не было:

ни когда они пригласили прогуляться в размалеванных автомобилях трех уличных педерастов, самый нахальный из которых запел в предвкушении противостественных ласк: «Спасибо, соратницы по хайлайф¹, сестры наши!» Эти три негодяя распустили свои павлиньи хвосты под оскверненными арками Центра Симон Боливар. Была полночь, их довели до стадиона № 18 клуба Валье Арриба и бросили там в чем мать родила под дождем, полосовавшим стыдом и холодом, предварительно отстегав ремнем их позорные зады и измазав краской мерзкие животы;

ни когда они сбросили с откоса в глубины пруда (на следующий день пришлось прибегнуть к помощи портового крана, чтобы извлечь его на поверхность) великолепный «роллс-ройс» доктора Эченагусии — заслуженная кара за его отвратительную точность выраже-

¹ От англ. «high life» — светская жизнь.

ний: он называл их недорослями и злостными вандалами, а в паузах во время бриджа — преступной бандой из высшего общества и допускал другие идиотские высказывания;

ни когда они опорожнили двенадцать банок красной краски в водохранилище, откуда вода подается в Кантри. Во всех особняках из кранов потекла кроваво-багровая жидкость, а они распустили слух, что вода злонамеренно отравлена экстремистами, и в течение нескольких дней никто не отважился пить ее, мыться или использовать в туалетах;

ни когда они ворвались пиратами на торжественный банкет еврейской аристократии. Из синагог явились раввины, мрачные и напыщенные, чтобы освятить своим присутствием обильную ветхозаветную трапезу, а они, ухватив скатерть за концы, выскочили с ней на улицу — по земле покатались самаритянские амфоры, пресный хлеб, печеные яйца, куриные шейки, ореховые торты, все это покатилося по земле, смешиваясь с замысловатыми проклятиями Иезекиила и Иеремии;

ни когда они любезно предложили прокатиться в своих машинах двум ночным труженицам, лениво тащившимся по улице Казанова ¹, — крашеной блондинке и черноволосой эквадорке. Они заморочили девчонкам головы баснями о ночном пикнике, повезли их по какой-то ухабистой дороге, которая карабкалась по склонам Авилы, потом заставили забраться в самую гущу кустарников, устроили шикарный костер из их профессиональных нарядов и стоптанных туфелек, а самих, разутых и раздетых, оставили среди колючих зарослей, да еще на прощание сострадательно предупредили: осторожно, здесь много ядовитых змей-мапанаров!;

ни когда они устроили оргию в благородном доме Бехарано. Мать, отец и сыновья отправились в Грецию обозревать памятники античной культуры, дом остался под присмотром дворецкого-португальца, который родился в век карбидных горелок. Они навесили замок на комнату, где восьмидесятилетний старец уютно дремал, освободили ящики с шампанским из тьмы погреба, а Монна-Лиза и ее две подруги (такие же бесстыжие, как она) изобразили стриптиз под accompa-

¹ Аристократическая улица в Каракасе.

немент стереофонической записи «Страсти по Матфею». Утром они выложили на персидских коврах четкий узор из собственного дерьма;

ни когда они заняли стратегические позиции на балконе кинотеатра «Альтамира», где Фрэнк Синатра пел «Странники в ночи» или какую-то другую из своих плагиатных песенок, а Рамунчо прервал его рыком гиппопотама и по этому сигналу Эсекьель и Пибе Лондоньо стали швырять кудахчущих кур и лить зловонную жидкость прямо на головы сидящих в партере. Рамунчо вопил во всю глотку: Землетрясение, спасайтесь, землетрясение! Викторино открыл огнетушитель и устроил душ Шарко бежавшим в панике людям;

ни когда они завлекли в укромный уголок парка Эль Хункито двух неосторожных учениц американского колледжа и заставили их проглотить крепчайшую смесь рома с текилей, способную свалить с ног даже трухильянского полковника, после чего вдоволь наигралась с пьяненькими рыжухами, — правда, не дошли до крайности во избежание осложнений;

ни когда они отомстили Далиле Монтекатини, которая сначала была доверенным лицом их шайки и подругой Уильяма, а затем вдруг ни с того ни с сего превратилась в святошу. Далила Монтекатини стала ходить по знакомым и рассказывать про них ужасы: Не приглашайте их на праздники, они хулиганы. И вот однажды вечером они вытолкали ее из собственного «фольксвагена», затащили, согласно сценариям телевидения, в какой-то заброшенный дом и стали грозить, что исполосуют ей груди, а этот бестия Рамунчо в лучшем инквизиторском стиле махал перед ее носом садовыми ножницами: Проси у нас прощения на коленях! Целуй каждому башмаки! И Уильяму тоже, хотя он и молчит! И Далила Монтекатини по-магометански распростерлась у их ног, чтобы защитить целостность своих сосочков;

Словом, ни в один из этих исторических скандалов не веселилась так спортивная душа Эсекьеля Устариса — он студент третьего курса юридического факультета католического университета, но душа у него спортивная, — как в этих автогонках не на жизнь, а на смерть в безлюдном месте неподалеку от Прадос-дель-Эсте.

Ты просто наслаждаешься, Эсекьель, снова и снова вспоминая эту эпопею и прибавляя все новые подробности, которые позже придумал или, может быть, упустил в своих прежних рассказах.

— Викторино и Уильям,— говорит Эсекьель,— раздобыли в Ла-Кастельяне «мустанг» кремового цвета, который только что освободили из контейнера, доставившего его из Питтсбурга или из Чикаго. Судя по счетчику, он наездил не более ста километров, кожа на сиденьях еще пахла новыми ботинками, в общем, отличная машина.

Эта была не машина, а механизированный архангел, Эсекьель. Только американцы знают секрет воплощения в металле такой аэродинамической элегантности, под стать чеканке Паоло Учелло. Кем могла быть его хозяйка, Эсекьель? Надо полагать, надменной дамочкой, которая изъясняется по-французски, натягивает на пальцы черные надушенные перчатки и тратит свои вечера на визиты притворного соболезнования,— впрочем, в Каракасе ей уже не придется проводить время так бестолково.

— Мы в свою очередь,— продолжает Эсекьель,— мы, то есть Пибе Лондоньо и я, мы свистнули «мерседес-бенц», не такой новенький, как «мустанг», но тоже почти девственный, модель этого года, со всем, чем надо: кондиционированным воздухом, приемником «Телефункен», проигрывателем «Филиппс», в общем, блеск машина.

Видно, хозяин его был рабом классической музыки, Эсекьель, у него хватало средств и терпения слушать «Анданте» из «Юпитера» на скорости восемьдесят километров в час. Но кем же все-таки мог быть его хозяин, Эсекьель? Скорее всего, врачом, который получает восемь тысяч боливаров за операцию по удалению аппендикса. И после того, как кладет денежки в карман, цинично успокаивает пациентку, испуганно кричащую под наркозом: Не волнуйтесь, сеньора, это так же просто, как вырвать зуб. Восемь тысяч боливаров. Денег у него, видно, до черта.

— Мы поехали по шоссе, которое сворачивает к Прадос-дель-Эсте, вы знаете, сразу после сквера,— повествует Эсекьель.— Викторино вырвался вперед на «мустанге», я ехал следом на «мерседесе», а в хвосте

у нас пристроился грузовичок для развозки хлеба, с судьями и зрителями, которые не хотели упускать нас из вида.

Какой сумасшедший булочник, Эсекьель, какая квашня решила доверить свою рабочую машину Рамунчо? Потому что не кто иной, как сам Рамунчо, управлял этим грузовичком.

— Было уже далеко за полночь,— рассказывает Эсекьель,— и движение транспорта нам не было помехой. На холме асфальт кончился, и мы попали на строящуюся дорогу. Рабочие оставили там фонарики на шестах, эти хромоножки послужили стартом нашей гонке на скорость. На первом этапе нас обошли, пришлось хвост поджать, ничего не поделаешь.

Его невозможно было победить, Эсекьель. Викторино мчался, как сорвавшийся с цепи демиург, среди пыли и визга; колеса «мустанга» бешено скакали по рытвинам и колдобинам. «Мерседес-бенц», свинцово-тяжелый и величественный, отставал. Дорога вдруг оборвалась; впереди вырос холм, за ним — пустыри. В последнюю минуту Викторино услышал предостерегающий вопль Уильяма: Тормози, или мы разобьемся! *Но я все-таки победил тебя, Эсекьель.*

— Тогда,— говорит Эсекьель, о первом этапе гонок он рассказывал с наигранным пафосом, теперь же его так и распирает от гордости.— Тогда мы рванули на пустырь, чтобы выяснить там, кто настоящий победитель.

Пустырь казался им автодромом, до отказа заполненным невидимой публикой; автодромом назвал его ты, Эсекьель. Они были готовы начать мужественную игру, которая показала бы истинную выносливость и крепость этих прекрасных машин, их капотов и крыльев, всех этих штукювин, под которыми бьется смазанное маслом сердце. Вера в победу сидящего рядом Пибе Лондоньо еще более взбодряла тебя, Эсекьель; Пибе уверял, что, хотя немецкие воротилы действительно сгубили миллионы людей в концентрационных лагерях (стариков, женщин и детей, следуя ницшеанскому отбору, Эсекьель), от этого они не перестали понимать толк в автомобилестроении. Ты разделял его веру в немецкое промышленное чудо, Эсекьель, но не надо было забывать, что соперником «мерседес-бенца» той ночью

было не другое авточудо, а Викторино, державший в руках руль этого чуда. Отвага и вера в себя составляли и составляют три четверти победы и для царя Давида и для Фиделя Кастро, а эти качества всегда были присущи Викторино, Эсекьель.

— Мы стали друг против друга,— говорит Эсекьель,— между нами было метров двадцать. Гудок хлебного грузовичка должен был послужить сигналом, Рамунчо дал сигнал, и...

Они начали сближение на средней скорости. Сначала ты увильнул от неминуемого столкновения, Эсекьель, уклонившись на несколько дюймов, дал промчаться мимо слепому от ярости крейсеру, который несся прямо на тебя, и правильно поступил — Викторино никогда не свернул бы в сторону, но в последний миг ты сделал легкий поворот направо, и передний бампер твоего «мерседеса» пробил заднее крыло «мустанга». Жалобный звон разнесся по пустырю. Ты здорово ему заехал, Эсекьель.

— Я подумал, что обязательно надо дать ему еще разок,— сказал Эсекьель,— и снова развернулся навстречу.

Колеса «мерседеса» ожесточенно заскрежетали в крутом повороте на голой земле. Bravo, Эсекьель, твой неожиданный вираж позволил тебе перехватить Викторино как раз посредине продолговатого эллипса, который описал «мустанг». Мощный киль «мерседеса» устремился прямо на радиатор «мустанга», смял его и превратил в дымящийся, чихающий аккордеон. Ты вышиб его из игры, Эсекьель.

— Этого было предостаточно, чтобы кончать сражение,— говорит Эсекьель,— но ведь вы знаете Викторино. Пибе Лондоньо толкнул меня, дав знать, что «мустанг» продолжает нас преследовать, или, лучше сказать, призрак «мустанга», верно?

Действительно, Эсекьель, за твоей спиной послышался прерывистый храп искалеченного мотора, слышались англо-саксонские вопли Уильяма — можно было подумать, что кричит сам Редьярд Киплинг, окруженный туземцами. Ты напрасно старался уйти от толчка, Эсекьель, захрустели сломанные ребра «мерседеса», Пибе Лондоньо ткнулся вперед, прямо на стекло. Еще немного, и он бы раскроил себе лоб. Резкий запах

пролитого бензина пополз в темноту. Но этот бешеный наскок, Эсекьель, был последней атакой, в которую ринулся Викторино, не побежденный автомобиль, а он. Тебе удалось вырулить вбок, Эсекьель, чтобы не быть разбитым всмятку, не превратиться в грудку металла; фонари грузовичка Рамунчо подмигивали впереди, в туманной дали. Позади остался побежденный бойцовый петух, бившийся в агонии фонтан кипящей воды, из которого выскочил Викторино, проклиная Джорджа Вашингтона, совершенно непричастного к этим событиям, а вслед за ним в ту же самую дверцу выскочил Уильям; вторая дверца, превращенная в парализованный лист железа, заклинила навеки.

— Мы хотели отпраздновать победу нашего «мерседеса» кругом почета по пустырю, — заканчивает Эсекьель, — но и «мерседес» превратился в кучу дерьма, через двадцать метров он встал как вкопанный.

Да, он остановился, величественный, но ни на что не годный, как статуя генерала, Эсекьель. Пассажиры грузовичка во главе с Рамунчо приступили к торжественной церемонии дележа добычи. Ты, победитель, взял себе на память звонкое радио «мерседеса», Пибе Лондоньо прихватил с собой две запасные шины, он это заслужил. Рамунчо выпотрошил «мустанга», как хирург, готовящий пациента для пересадки всех органов; остальные зрители тоже не отставали, за исключением рыжего садиста — он удовольствовался тем, что располосовал великолепную кожу на сиденьях опасной бритвой, которую вытащил из кармана, выпустив на свободу пружины и конский волос решительно без всякой надобности, просто так, чтобы душу отвести. А что же делал Викторино, Эсекьель?

— Викторино, — говорит Эсекьель и не может скрыть свое удовольствие, — Викторино запагал в пыльную темноту с пустыми руками. Он не привык к поражениям. Не знал, что такое потерпеть крах. Через полчаса мы его догнали, предлагали сесть в грузовик, настаивали, спорили, упрашивали: Не упрямясь, не будь дураком, — только слова напрасно тратили и в конце концов оставили наедине с его тихой яростью и восходящим солнцем.

ВИКТОРИНО ПЕРДОМО

Ты меня ожидаешь, и по твоему телу пробегает дрожь как по молодой лошадке перед бегами, Ампара. У дверей твоей квартиры я забуду о своих делах и думах, сложу свои заботы, как складывают газету под бутылкой молока; оставляю в лифте крошечную грифельную доску моей памяти, где нарисован план банка и точное местонахождение кассиров; я также отрешусь на время от своей юношеской неистовой ярости, которая требует обратить все в прах и пепел, чтобы строить справедливость на чистом месте, начиная с нуля. Я выкину, я думаю, что смогу выкинуть из головы все эти не соответствующие ни месту, ни времени мысли перед тем, как скинуть с себя соответствующую случаю одежду и предстать перед тобой во всей своей мужественности; а ты откроешь мне дверь в халатике с голубыми цветами, и руки твои будут пахнуть душистым мылом и нежностью, и лицо озарится такой улыбкой...

Викторино шел, по дороге выжимая, как лимон, свою память, воскрешая самые дивные минуты счастья, тысячи прекрасных смертей, пережитых вместе с тобой, Ампара, с того самого дня, когда ты вскрикнула от боли и стала женщиной, его любимой. В памяти всплывала неловкость первых дней.

...Я учил тебя любить и сам учился вместе с тобой; любопытство и наслаждение постепенно, капля за каплей, превратило нашу первоначальную робость в источник утонченных радостей; мы все более углублялись в густой дивный лес, горячие тайны которого никто нам ранее не открывал; о чудесах которого мы не знали ни по книгам, ни по фильмам, Ампара, любимая моя. Те-

перь не существует на твоём теле ни одной впадинки, которой бы я не знал и не вкусил, не существует ни одного выступа на моем теле, которого бы не знали твои руки и твои губы; ты изобретала нежные слова рядом со мной, а я узнал вкус твоего пота и твоих слез. Мы чувствовали себя и животными, и богами, сок наших тел вскипал в едином пламени, молния безумного блаженства разом ударяла в нас обоих.

После долгого поцелуя у окна, Ампара, ты молча пойдешь к своей кровати, сбросишь цветной халатик и, обнаженная, соблазнительно засмуглеешь на белизне постели. Командир Белармино разоружит полицейского охранника, этого чертова мулата, который отдаст ему револьвер, отведя глаза в сторону. Я стану медленно раздеваться, Ампара, вся одежда упадет к моим ногам, все мои чувства устремят меня к твоей чудесной черной бабочке, к твоим пока смирным бедрам, охраняющим ее, к темным пупырышкам твоих грудей, напрягающимся от моей близости, к твоим приоткрытым губам и к твоим сомкнутым векам, к тебе, Ампара, цветок мой любимый. Через стекла черного «шевроле» можно будет разглядеть суровый профиль Валентина, к нему прижмется Карминья с сороказарядным полуавтоматом, зажатым между ногами. Я подойду к тебе бесшумно, босиком; ты не услышишь, а скорее почувствуешь мои шаги, не открывая глаз; твои руки протянутся мне навстречу; твой рот дрогнет в поисках моего рта, ты нежно укусишь мои шепчущие губы, ты притянешь меня к жаровне своего живота. Я нацелю револьвер ему прямо в лоб и крикну: Руки вверх! Не сопротивляться!, и перепуганный кассир... Вдруг меня пронзает мысль, Ампара, — я не смогу тебе сегодня дать счастья; что бы мы ни делали, только время потеряем; и нежность твоя пропадет даром, и оружие мое не сработает, и кровь останется холодной, проклятье!

Все так и происходит. Твои пальцы не могут побороть мою вялость, твое тело не привыкло к пренебрежению и равнодушию. Ты чем-то расстроен?, спрашиваешь ты. Ты о чем-то думаешь?, спрашиваешь ты. Тебе нездоровится, любимый?, спрашиваешь ты и живой лианой въешься по вспотевшему бревну; твои губы все теснее прижимаются к моим, ты вся — безграничное откровенное желание. Я не смогу сегодня утолить

твою жажду, я убежден в этом, Ампара, будь все трижды проклято.

Какой-то добрый ангел шепнул тебе, чтобы ты оставила меня в покое, Ампара. Ты тихо встала, я робко смотрю вслед твоей смуглой спине. Ты остановилась в задумчивости около радиолы. И твоя квартира наполняется музыкой, которая всегда была сообщницей наших самых иступленных объятий, самых дерзких признаний, самых рискованных игр. «I can't say nothing to you but repeat that Love is just a four letter word»¹ — поет Джоан Баэз, и ее песенка, сегодня искренняя, как молитва, печальная, как элегия, еще больше ранит меня. Единственно, что меня утешает, — это то, что скоро это мучение кончится, через несколько минут я буду далеко отсюда; у меня стучит в висках, сухо в горле, — далеко отсюда.

Но ты не смиряешься, Ампара. Все еще обнаженная и задумчивая, зажигаешь сигарету и окутываешься дымом. Сейчас ты повернулась лицом ко мне, золотистый солнечный зайчик прыгнул из окна тебе на грудь. Ты раздавила о мраморный стол только что зажженную сигарету и возвращаешься ко мне, уверенная в себе, в своей силе любящей женщины, в своем аромате и в своих руках. А если будет перестрелка? Если будет перестрелка, придется перешагнуть через чей-нибудь труп, чтобы не перешагнули через твой, черт подери. Нет, Ампара, ничего не выйдет, не надо щекотать языком мои мочки, скользить грудью по моим губам, умоляюще теревить меня. Ты делаешь мне больно. Говорю же тебе: Сегодня невозможно, а ты твердишь упрямо: Всегда возможно, и стараешься побороть мою вялость, пока сама не убеждаешься, что это невозможно.

Тогда ты взглядываешь на часы. Очень скоро должна вернуться твоя мать, она уже вышла из учреждения, села в автобус и едет, едет сквозь уличный шум и semaфоры. Одевайся быстрее, я оделся быстрее, чем ты думала, самое главное — оказаться подальше отсюда, страдать или смириться, но только подальше отсюда. Ты же улыбаешься, ласково, открыто, любовно, обод-

¹ «Я ничего не могу сказать тебе, кроме того, что Любовь — это слово из шести (англ.— четырех) букв» (англ.).

ряюще: Дурачок ты мой, я жду тебя завтра утром, в этот же час, слышишь? А если будет перестрелка, Ампара?

(Была такая идиллическая эпоха, когда все мы жили в мире и согласии, *pernino discrepante*, — никто не может представить себе такого, видя, как мы перегрызаем друг другу глотки. Однако в самом деле существовала эта сказочная страна свободы, хотя Вы и не верите, скептик-читатель; сейчас я Вам поясню. Однажды мы почувствовали, что по уши сыты этим самым диктатором, *quousque tandem*¹ будет командовать нами какой-то плюгавец, тщеславный толстяк, недалекий, жестокий, возомнивший себя Наполеоном и не дотянувшийся до пупа Тартарэна, и тут-то он и показал, кто из французских героев ему ближе. Самый срам в том, что он сумел нагнать на нас библейского страха — таким вооруженным до зубов он везде являлся, таким исполненным решимости свершить любые преступления он казался, впрочем, он и свершал любые преступления. Но когда он этого менее всего ожидал, стадо баранов превратилось в осиное гнездо и — я его свалил, ты его свалил, он его свалил, мы его свалили, они его свалили, вы его свалили. И когда пришло пробуждение, нас охватила поистине фуэнтеовехунская эйфория — хотелось ликовать, как дикие африканцы вокруг изрешеченного стрелами дохлого гиппопотама. Сеньор атеист стал разгуливать под ручку с сеньором епископом, а сеньор епископ стал угощать сеньора атеиста шоколадом: Выпейте еще чашечку, прошу Вас. Приятель капиталист похлопывал с искренней снисходительностью по вспотевшей спине приятеля рабочего, а приятель рабочий просил благословения у приятеля капиталиста. Товарищ юноша преклонял колени перед седовласым опытом товарища старца, а товарищ старец пел дифирамбы бородатому задору товарища юноши. Военные срезали цветочки с клумб общественных парков к великому удивлению уличных девиц. Крестьяне водили своих де-

¹ Доколе (*лат.*).— Начало первой речи Цицерона против Кагилины: «Доколе ты будешь злоупотреблять терпением нашим...»

тей в банк, чтобы они позабавились, швыряя арахисовой шелухой в членов правления, которые весело подмигивали детишкам из-за решетки. Благороднейшая мадам *Liberté*¹ стала бесшабашной подвыпившей богиней, аппетитная мадам *Egalité*² дискредитировала себя под стать своей сестрице; кадильный ладан курился лишь у ног третьей сестры, экс-Золушки, мадемуазель *Fraternité*³ синьорины *Unitá*⁴, мисс *Concord*⁵. фрейлейн *Einigkeit*⁶. А меж тем беглый диктатор⁷ ностальгически встряхивал бокал с «Tom Collins»⁸ в баре отеля «Фонтенбло» (Майами-Бич), подытоживая суммы своих банковских вложений, складывал доллары с швейцарскими франками — их перевалило за 120 миллионов — и похихикивал в кулачок, похихикивал, как насмешливое эхо испанского поэта по имени Эмилио Каррере, несправедливо преданного забвению).

Мы сидели втроем, как и раньше, наслаждаясь деревенским ароматом супа и мягким благодушием хлеба. Мой отец, Хуан Рамиро Пердомо, вернулся из далекой тюрьмы, окруженный ореолом общественного восхищения, к чему он никогда не стремился. Газеты писали о его стойческой выдержке при пытках, о его удивительном самообладании на унижительных допросах, о перенесенных муках голода и жажды, которым его подвергали, чтобы сломить; о металлических лезвиях, которыми ему кромсали ноги. Но он плевать хотел на подлые расправы, посылал всех подальше — таков был его единственный ответ. Газеты рассказывали также о годах заключения в тюрьме Сьюдад-Боливара; там он разводил овощи, обучал грамматике, истории, географии узников из простого народа. Его друзья приезжали навещать его, я видел, как они его обнимают, гордые

¹ Свобода (франц.).

² Равенство (франц.).

³ Братство (франц.).

⁴ Единство (итал.).

⁵ Согласие (англ.).

⁶ Единство (нем.).

⁷ Имеется в виду венесуэльский диктатор М. Перес Хименес, свергнутый народом в 1958 году.

⁸ Виски с томатным соком.

тем, что они его друзья; они говорили: Ты настоящий коммунист,— это единственная похвала, которая всегда доставляет ему удовольствие.

Потому что мой отец, Хуан Рамиро Пердомо, не ставит себе в заслугу, что много сидел по тюрьмам, и не считает это каким-то геройским подвигом, он полагает, что с любым из его товарищей могло случиться то же. И вот поэтому я всем и всегда говорил, даже когда меня и не спрашивали: Хуан Рамиро Пердомо — это мой отец. Он уселся во главе стола, между матерью и мной, развернул салфетку, попробовал суп, который мать приготовила из овощей и любви, и сказал:

— Рассказывайте! Рассказывайте обо всем!

Он хотел узнать о важных событиях, которые произошли в мире, пока он был в тюрьме, как и когда запустили спутник в Советском Союзе, о чем говорилось на XX съезде. Отец сидел в одиночной камере, куда не проникал даже лай собак. Мать рассказывала ему обо всем своим ровным голосом учительницы, а иногда предоставляла слово мне:

— В этих делах Викторино разбирается лучше меня.

Мой отец хотел до мельчайших подробностей знать, как я свалил, ты свалил, он свалил, мы свалили, они свалили, вы свалили диктатора. Он даже не отдавал себе отчета в том, что там, в своей камере, он участвовал в перевороте более активно, чем мы здесь, на воле. Это вы, узники, те, кто действительно свалил. А я, Викторино Пердомо, студент второго курса социологического факультета, который швырял булыжниками в полицейские пулеметы, я просто мелкий буржуа, вышедший на улицу, чтобы слиться с дьявольской яростью толпы; я делал это, чтобы вырвать из заключения своего узника, ибо во что бы то ни стало хотел быть достойным этого узника, вот и все.

— Без романтики, Викторино, без красивых слов,— говорил мне отец,— лучше объясни мне, как наши разьединенные профсоюзы смогли организовать всеобщую забастовку; кто объединил интеллигенцию, как, в какой форме проявилась солидарность моряков, откуда взял оружие народ.

С помощью матери я пытался ответить на эту ка-

станъетную дробь вопросов. Мать на глазах превратилась в олицетворенное ликование, она расцвела, как пышные деревья букары, она сожгла свою печаль на улицах вместе с портретами диктатора, которые летели в костры. Я никогда не предполагал, что ее слабые плечи смогут выдержать такое огромное, вдруг свалившееся на них счастье. Девичье волнение сделало ее еще более красивой, она ни с того ни с сего вскакивала из-за стола и возвращалась в сопровождении Микаэлы, которая, как голову побежденного, несла в высоко поднятых руках те самые свиные отбивные, которые тогда пригрезились мне во дворе лица. Мать заливалась коротким радостным смехом, когда мой отец (а мой отец не обладал ни малейшим талантом вести семейные собрания) робко пытался сострить или пошутить. Однако там, в ярком сиянии материнской радости, мне казалось, я различаю мерцание свечи; мать ласково и все же грустно гладит волосы отца, словно боясь потерять его; ласково проводит рукой по моим волосам, словно боясь потерять меня. Вот-вот прольются слезы ее нацуганного счастья. И они льются.

ВИКТОРИНО ПЕРЕС

Слава богу, что многоквартирный дом, где еще живет Мама (она все еще продолжает жарить лепешки для продажи), стоит недалеко от гостиницы «Лукания». Викторино находит в себе силы добраться туда, хромая и кляня весь свет, прижимаясь к стенам и заборам, как загнанный пес. Его черные штаны залиты кровью Бланкиты, запачкана и рубаша, на темном фоне которой предательски краснеют пятна. До дома остается каких-нибудь двести метров. Викторино прекрасно знает, где лучше идти, чтобы в эту пору избежать ненужных встреч. Завернув за угол, он скользит вдоль безобидного забора (почти двадцать метров — и ни одной двери), окружающего склад каких-то материалов и машин. Затем пересекает улицу, оставляя позади торговый перекресток, который еще не совсем очнулся от ночной дремоты; проходит, втянув голову в плечи, мимо трех окон, которых не миновать, где живут знакомые, и наконец исчезает в коридоре многоквартирного дома. Толстуха из комнаты № 1 еще спит, никто с ним не сталкивается, никто его не замечает. Он отодвигает плечом кретоновую занавеску, входит в комнату Мама, — словно только что вернулся из школы. Она стоит и стряпает, — словно бы и не было этих трех лет разлуки. Она поднимает голову от дымящейся сковородки и видит сына, стоящего посреди комнаты. Не говоря ни слова, она подходит к нему и целует его в лоб. Он говорит ей детским жалобным голосом (только с ней одной он может говорить так): Мне бы сменить одёжку. Мама не задает вопросов, она только ощупывает мокрые кровавые пятна, чтобы узнать, не ранен ли он, и успокаивается, убедившись, что это кровь не Викторино. Тогда она моет руки в раковине, открывает тем-

ный сундук, который будто врос в пол рядом с ее кроватью, и начинает перебирать мужскую одежду. Викторино сбрасывает с себя темную рубашу и черные брюки, свертывает их в комок и швыряет под стол, в одних трусах ожидая, пока Мама что-нибудь найдет. Она протягивает ему штаны цвета хаки, которые ему немного широки, и архиепископски лиловую рубашу, которая ему тоже немного великовата. Викторино не знает, какому мужчине принадлежала эта одежда, да и не хочет знать. Мама тихо плачет, не вытирая глаз; он старается делать вид, что не замечает ее слез. Она достает с карниза коробку из-под печенья «Квакер», где хранит свои сбережения, и отдает все монеты Викторино, все пятнадцать боливаров. Оба понимают, что ему нельзя долго оставаться под родной крышей. Именно сюда полицейские нагрянут раньше всего, они уже были здесь несколько раз, когда он убил (нельзя было не убить) итальянца. Он натягивает на себя просторную одежду с чужого плеча и засовывает деньги в один из своих новых карманов. Мама провожает его до кретоновой занавески, чтобы проститься с ним: Да хранит тебя бог. Единственные слова, которые она произносит за эти короткие минуты.

Викторино останавливает свободное такси и говорит шоферу адрес, который дал ему в тюрьме Камачито. В районе Про Патрия утро уже совсем созрело, солнце украшает апельсиновыми цветами худосочные деревца на маленькой площади; бледная, в желтом платье девочка забавляется, разговаривая с собой, в дверях какого-то домишки. По адресу, указанному Камачито, находится скобяная лавка или портняжная мастерская совершенно непотребного вида: ее окна наглухо закрыты ставнями, а не стеклом, как подобает настоящим витринам. За прилавком этого странного заведения сидит скорчившись не менее странный субъект неопределенного возраста. Антикварное пепсе пляшет на его хищном носу, он внимает воинственным воплям, несущимся из радиоприемника, который у него над ухом извергает последние известия: *Викторино Перес, общественный враг № 1, сегодня на рассвете совершил удивительный по дерзости побег из тюрьмы Ла-Планта... Вы можете выиграть крупную сумму денег в лотерее Орьенте...* Викторино более или менее это предвидел: радио будет

орать до полудня; затем его станут поливать грязью вечерние газеты, а завтрашние утренние окажут ему честь, напечатав его портрет на последней полосе.

Викторино подходит к скрюченному лавочнику и говорит, что он от Камачито. Старикашка сразу же опознает своего визитера, в голове у него мутится от страха, а радио вновь с ожесточением начинает бубнить: *...белый бандит имеет при себе оружие... Пенсикола украшает жизнь...* Старикашка еще более сжимается за прилавком, стуча зубами, собирает все свои силы и с колумбийским либо деревенским акцентом зовет помощника, который шныряет в задней комнате: Худас Тадео! и к которому относится или должно относиться это имя: Худас Тадео! Затем хозяин напяливает на голову черную фетровую шляпу, сразу превращающую его во вдовца, говорит, неизвестно к кому обращаясь, то ли к Викторино, то ли к Худасу Тадео, который наконец припелся после того, как его окликнули в шестой раз: Я вернусь через десять минут, — и поспешно выскальзывает из лавки. Викторино не беспокоится, хозяин не может выдать его, не рискуя привлечь внимание к своим собственным делишкам: откуда, мол, вы знаете этого Камачито? Радио снова начинает горланить о его побеге. Известие об этом будет передано до обеда раз сорок. Худас Тадео — слабоумный индеец: он никогда не слушает, о чем болтают призрачные радиоголоса, он предпочитает давить пальцем развратные мушиные пары на досках прилавка. Викторино садится на стул, которого ему никто не предлагал. Худас Тадео смотрит на него искоса и улыбается, улыбается так, словно посвящен в тайну, — он ни во что не посвящен, его соучастие — видимое, как у всех идиотов. Никто не входит за покупками в эту лавку, где не видно никакого товара. По тротуару удаляется продавец лотерейных билетов, выкрикивая дурацкий счастливый номер без семерок. Проходит более получаса, и возвращается старикашка в старомодном пенсне, возвращается таким же встревоженным, каким ушел. Не снимая шляпы, он нервно говорит Викторино: Пошли! — и опять идет на улицу. Викторино следует за ним, хромя и изрыгая проклятия.

Встревоженный старикашка ведет его к какому-то дому в этом же квартале. Их быстро впускает в дверь

женщина, у которой фронтон и цоколь типичной проститутки. Двое мужчин, находящиеся в маленьком зале, и не думают подниматься с дивана. Вся мебель — ядовито зеленого цвета, две картины уравнивают одна другую: на одной стене боксер-негр в боевой позиции, на другой — беззащитное сердце Иисуса. Пахнет кофе с молоком и мятой. Викторино валится в одно из выывающе зеленых кресел, оба мужчины глядят на него с пытливым участием. У одного веко вздулось твердым куриным яйцом, у второго во рту торчит гораздо меньше зубов, чем потеряно. Викторино кладет начало знакомству, сообщая, что у него страшно болит вывихнутая лодыжка. Беззубый говорит ему: Сними-ка ботинок и носок, сделаю тебе массаж. Проститутка с трогательной заботой приносит ящик, который должен послужить опорой для разутой ноги. Так называемый массаж оказался зверским рывком, от которого у Викторино в глазах заплясали звезды (Альдебаран, Кассиопея, пояс Ориона, Арктур из созвездия Волопаса, хотя Викторино и слыхом о них не слыхал). Он не может удержаться от стонов вперемежку с руганью. Беззубый массажист, снова ослабившись в жалкой гримасе Пьерро, утешает его, стоя перед ним на коленях. Старикашка в черной шляпе все еще торчит у двери, в которую они вошли. Викторино, обливаясь потом от боли, махнул ему рукой: Пойди-ка найди мне Крисанто Гуанчеса, — сказал он ему, — найдешь его там-то и в такой-то час. Викторино называет место и час. У старика впервые за все время светлеет лицо: замаячила надежда избавиться от нежеланного гостя. Он ускользает не попросившись. Четверо оставшихся чувствуют себя после его ухода гораздо уютнее. Женщина приносит кофе с молоком, аромат которого несется уже издалека, и немного печенья. Беззубый обнажает десны в пародии на улыбку, тип с яйцеобразным веком тоже старается выразить беглецу свое профессиональное восхищение. Он идет в соседнюю комнату и возвращается вдруг с удивительно мягкой подушкой, на которую Викторино опускает пятку своей больной ноги. Беззубый вытаскивает две трубки марихуаны и предлагает одну из них своему новому приятелю: Хочешь? Да, Викторино хочет.

Далее следует первая чудесная галлюцинация Викторино Переса, описанная романистом, который назы-

вает марихуану «*cannabis sativa*», вместо того чтобы назвать ее: *цикада, ознобик, сенцо, кудряшка, шумиха, хуанита, побегушка, мачиче, мафафа, маланга, дурья башка, маслице, марабунта, маранья, мария джованни, мария ла-о, марьянжа, марихуана, марильон, мэри уорнер, материалец, штучка, дерьмо, лесовичка, ухмылка, комочек, пельпа, пеппа, катапульта, питрака, розалия, роза мария, четки, шоры, табачок, всячина, ракета, глушонка, хохма, фуфу, шуточка или травка. Романист называет ее «*cannabis sativa*», или *кайф*, или *гашиш* — чистая литературщина — и почти не знает, как она действует на человека, о чем он лишь читал в одной брошюрке, посвященной отравлению ядами.*

Ракета по имени *Викторино* взмывает и взмывает в небо из каменной глыбы по имени *Викторино*, и нет этому конца, потому что одна часть *Викторино* покоится в удобном кресле, а другая часть *Викторино* летит вверх в бредовом смерче. Его правый локоть тесно спарен с правой ручкой кресла; эта часть *Викторино* не принимает участия в его заоблачных путешествиях, а остается недвижимой в грязном притоне — ей даже не дано знать, в какие минуты *Викторино* возвращается из своих космических прогулок и снова обретает локтевую и лучевую кости руки, покидаемой на столь долгое время. Напротив того, череп (который, по мнению преподобного отца бенедектинца Франсуа Рабле, есть важнейшая — после древнего и благородного символа мужественности — часть человеческого тела), череп *Викторино* безмерно увеличивается, а вместе с ним увеличивается объем комнатухи и все воображаемое пространство — подобно огромной велосипедной крышке, которую все накачивает и накачивает насос. Шар-череп *Викторино* улетает в страну чудес, страну без *homo sapiens*, без пейзажей, без обозначений и предсказаний, где есть только краски, линии, пространство, время, материя, движение, покой, приумножение, слияние, словом — наркотический кинетизм, уважаемый дружище Сото¹. Что касается сердца Иисуса, которому

¹ Хесус Сото — современный венесуэльский художник-абстракционист, создающий движущиеся композиции.

удается без всякой опоры сиять на стене этого гнусного заведения, оно, видно, использует этот головокружительный хаос, чтобы ступать в чудотворных приливах, раствориться в стеклянном блеске атмосферы, вознестись на небо, поместиться по правую руку от всемогущего бога-отца и т. д. и т. п. Викторино теперь вовсе не беглый негр, удравший от людского правосудия, а машина неограниченных летных возможностей (за исключением правого локтя, который остается на земле в знак его верности роду человеческому), моторизованная голова, свободомыслящая и свободовидящая. Киноварь, шафран, глауконит, опал, лилово-сургучно-карминная гамма, жемчуг (никогда в своей собачьей жизни не слыхивал Викторино таких слов, но цвета он видит) — краски заливают его; спирали, параболы, эллипсы, окружности, лемнискаты (откуда знать Викторино, почти не бывавшему в школе, названия линий, по которым он скользит?) где-то кончаются, и он летит ко всем чертям по генератрисе легко вибрирующей призмы. У кого это, будь он трижды неладен, болит щиколотка? Только не у Викторино, он во власти самого сладостного наркоза, сладость которого в том, что знаешь, что ты под наркозом, чувствуешь, как млеет сердце, и слышишь бессмысленную песенку, стучащую в такт крови:

Я знаю, что любишь ты рис с молоком,
Я в пляске кружусь под твоим потолком.

Однако щиколотка болит. Гостеприимная проститутка, которую кличут Газелькой — не за легкость поведения, а за нежданно резвые выходки, — раздевается специально для Викторино и зазывно выгибается в проеме двери, распахнутой в солнечное патио: вскидывает вверх руки, открывая подмышки и образуя тремя черными гнездышками, свитыми из ночных волос, малящий треугольник. Светло-розовый бюстгальтер, скрывающий груди, пятнает невинность ее оливкового тела, и она сбрасывает бюстгальтер. Неудержимое желание обжигает Викторино, он готов ринуться на нее, не испрашивая разрешения у двух приятелей, покуривающих свои трубки на полу, но появление бедняжки Бланкиты вдребезги разбивает его порыв. Бланкита является в первом акте операционного балета. Одна маска, при-

танцовывая, промывает ей раны физиологическим раствором, вторая сшивает располосованную плоть тончайшими жилами; третья стягивает кожу простыми нитками, четвертая вонзает в тело иглу шприца — противостолбнячный укол, — и все четверо выпархивают наконёц в игривом па-де-катре, покинув ее, лежащую ничком, с пластырем на ягодичках, с полным льда пузырем на заднице, гоп-ля-ля!

На расстоянии более двух километров от Викторино все происходит именно так, как это ему видится в его убежище на Про Патрия; эта подозрительно точная телепатия побуждает его благоразумно вернуться к земным стезям — просто дьявольское наваждение, Викторино. Призма переходит в генератрису, генератриса превращается в касательную, касательная съезживается в лемнискату, лемниската распадается на две окружности, одна из них вытягивается в эллипс, эллипс развертывается в параболу, парабола закручивается в спираль, спираль тихонько обвивает мозг, ее когда-то раскрутивший; локтевая и лучевая кости руки Викторино становятся частью тела Викторино. Сердце Иисуса покорно распластывается на своей стене. Газелька одним глазом подмигивает ему (Викторино) из двери, распахнутой в солнечный патио, — она и не думала сбрасывать платье. Нет ли там еще марихуаны?

Вторая галлюцинация Викторино Переса

Плут с яйцеобразным веком вытаскивает из кармана спичечный коробок, полный не спичек, а «мафафы», свертывает сигарку, сам зажигает ее и подает Викторино — это как раз то, что сейчас нужно Викторино позарез. Во втором путешествии на него обрушиваются старые воспоминания (они сами прут на него, он и не думал подзывать их свистом, как собачонок), воспоминания о разных случаях, которые снова происходят с ним точь-в-точь, как когда-то, вплоть до мелочей; он переживает их еще раз, но как будто впервые. Например, убийство итальянца (его нельзя было не убить). Викторино сумел заставить себя выкинуть из памяти эту неприятную историю, по крайней мере ее самые досадные подробности. И вот эта сцена, черт ее дери, развертывается перед ним на известковой белизне стены.

словно кто-то крутит пленку, запечатлевшую в замедленном темпе каждый его шаг; вот она, эта улица.

Шесть часов вечера, черная пятница. Викторино вчера ночью пил и танцевал с Вланкитой во Дворце спорта. На ней была полумаска, на подбородке черная мушка. Бутылка «Белой лошади» со льдом и содовой посадила их на мель — эти бандиты содрали с них сто двадцать боливаров. Обнаружив утром полнейшую пустоту в своих карманах, Викторино вдруг решил кого-нибудь ограбить, чтобы вознаградить себя за вчерашние потери. Крисанто Гуанчес отказался сопровождать его — он вообще не любит работать при естественном освещении, а тем более когда в голове гудит от вчерашней попойки; Крисанто Гуанчес всегда знает, что делает.

Викторино остановил свой выбор на портняжной мастерской итальянца потому, что она находится в том захолустном районе Каракаса, где он выучил (не в школе, в школе-то он черта с два что-нибудь выучил) правила игры в бейсбол, когда прогуливал уроки. Как свои пять пальцев знает он тут все закоулки — надо будет пробежать метров двадцать, завернуть за угол; там, позади автомобильной стоянки, глубокий овраг, который он излазил вдоль и поперек; покружив в нем, он вылезет наверх у самого массива жилых домов, где пробраться сквозь лабиринт простенок и лестниц — ему тоже раз плюнуть. Сам Дик Трэси не угонится за ним после ограбления, не говоря уже об этом пентюхе сыщике, которого показывали в телефильме.

Однако когда Викторино остановился у витрины и стал разглядывать английские кашемировые ткани (из Марака¹), щекотное прикосновение холодных (ниже нуля) невидимых пальцев к его лопаткам ясно дало ему понять, что дело не выгорит. Викторино всегда дорого платил за то, что не обращал внимания на предчувствия. Просто трусость прет из всех щелей, говорит он и загоняет глупые предчувствия обратно в щели, как тараканов. И в этом его ошибка. Итальянец из портняжной взглянул на него недоверчиво, настороженно: время закрывать мастерскую, Викторино не выглядел как клиент, пришедший снять мерку.

¹ Город в Венесуэле.

— Чего тебе? — спросил он хмуро. Викторино уже хотел ответить «ничего», уже собрался было отложить грабеж на другой день, но вдруг вскипел злостью на самого себя — он никогда не отступает. В штаны наложил от страха, негр? И вместо того чтобы дать задний ход под каким-нибудь благовидным предложением (можно от вас позвонить, сеньор?), он мигом вытащил револьвер, нацелил итальянцу прямо в галстук и залпом выпалил грозные приказания: Ни с места! Руки вверх или получишь пулю в лоб! Снимай часы и все остальное!

Пьетро Ло Монако, так звали портного, по сообщениям утренних газет, поднял руки, но не спускал внимательных глаз с темной рубахи налетчика. Откуда было знать Викторино (он не узнал об этом и из завтрашних газет), что это вовсе не обыкновенный портной и не сицилийский крестьянин, ставший портным, а бывший солдат или бывший военный преступник, бывший футболист — из тех, что играют в форме своего клуба и с судьями; или бывший мотоциклист — из тех, что гоняют с номерами на спине; или просто преподаватель трюков и приемов, чтобы увечить своих ближних. Викторино взвел курок револьвера: Клади барахло на прилавок! Человек начал снимать часы и обручальное кольцо, все так же в упор глядя на Викторино, как на своего смертельного врага. Вынимай бумажник! но тот не подчинился, рванулся было применить прием «карате», и Викторино не осталось ничего другого, как всадить ему пулю в ногу, чтобы отбить охоту к подобным японским штучкам.

Говоря по правде, дело уже провалилось, как проваливается всякий налет в ту самую секунду, как звучит выстрел. Теперь Викторино осталось только бежать, раз уж дело провалилось. Но Пьетро Ло Монако, прихрамывая, все-таки бросился к двери, чтобы загородить ему выход на улицу. Дурак, я убью тебя, пусти, сволочь! Итальянец не слышал его, не хотел слышать, схватил огромные ножницы и закупорил собою дверь: рост — метр девяносто, бычья грудь, как у Муссолини. Викторино смахнул с прилавка свою добычу, предложил почетное перемирие: Вот твои шмотки! Не доводи меня до убийства! Пропусти! Тот и ухом не повел, замахнувшись смертоносными ножницами. Викторино не мог по-

нять, как этому крестину удалось спасти свою шкуру на войне. Не иначе судьба приберегла его для меня, будь он!.. философски заключил Викторино, прицелился в самый центр груди, всадил в него три пули подряд, и тот сразу кувырнулся. Перед тем как выскочить и для того чтобы оправдаться перед историей, Викторино попытался вытащить бумажник из заднего кармана брюк, но Пьетро Ло Монако и в смертный час цеплялся за свои лиры, которые были еще боливарскими; с неистовым упорством цеплялся за блага брэнного мира, из которого уходил.

Сцена закончилась тем, что Викторино прорвался сквозь строй и страх любопытных; две тысячи мух слетелось на сладкий мед выстрелов. С дороги, или всех уложу на месте! — рычал Викторино. Толпа двумя волнами, как Чермное море, отлила в стороны, а минутой позже раскаялась в своем благоразумии и всем скопом пустилась его преследовать. Куда там! Викторино козьявкой шмыгнул в глубокий овраг и там затерялся... *Меня застукали в субботу, через день, в твоих объятиях, Бланкита.*

После столь четкого воспроизведения убийства итальянца (его нельзя было не убить, теперь вы сами понимаете), Викторино снова погружается в хаос видений. Его прошло-настоящая жизнь мелькает перед ним с несусветной быстротой, в дьявольском темпе фильма, который крутится назад, с шелестом наматываясь на бобины проектора; дни разлетаются пушинками секунд, километры — стружками миллиметров. Викторино никак не удастся извлечь какое-нибудь цельное воспоминание из этого вихря, в котором все смешалось. Его жестокая юность почему-то сливается с его более или менее спокойным детством, нападение на большой магазин заканчивается игрой в мяч в родном многоквартирном доме; тело Бланкиты, завернутое в саван, тащат хоронить муравьи; ограбление фермы в Ла-Флориде кончается у быков моста, где впервые появился Крисанто Гуанчес, бежавший с острова Такаригуа. При воспоминании о Крисанто Гуанчесе экран вдруг успокаивается; на стене появляется светлое воскресенье — так же явственно, как та черная пятница, когда скон-

чался без последнего причастия итальянец-портной Пьетро Ло Монако.

Накануне вечером они вдвоем совершили налет на закусную, битком набитую публикой. Урожай собрали немалый: три тысячи двести чистоганом, одиннадцать пар наручных «котлов», четырнадцать кожаных «лопатников» с документами и сентиментальными фотографиями и одну «пушку», принадлежащую посетителю, который был шпиком, но не успел вовремя разрядить в них свой револьвер. Викторино и Крисанто Гуанчес сидели нос к носу в комнате Крисанто, честно поделив добычу: каждому — священные пятьдесят процентов, а револьвер заприходовали как общее и неделимое орудие труда. Викторино решил использовать момент полнейшего взаимопонимания и выложить товарищу план, который он молча и долго вынашивал, обдумывал, так и сяк взвешивал, по кускам разжевывал, переваривал, кипятил в собственной крови. Касался этот план того гнусного происшествия, о котором они за прошедшие три года ни словом не обмолвились.

— Пришел час мщения,— сказал Викторино. В его лексиконе заметно чувствовалось пагубное влияние телевизионных постановок.— Я выслеживал их как собака, шаг за шагом, этих четырех паразитов: Кубинцу продырявили шкуру во время нападения на Центральное кладбище, Мохнатый Бык смылся год назад в Колумбию, но эта сволочь еще вернется, увидишь.

Крисанто Гуанчес — изваяние, высеченное из камня,— его не прерывал.

— А вот Кайфас и Бешеный Пес высидивают яйца в Ла-Леоне, срок им навесили два года. Все очень просто, друг. Мы дадим сучку надеть на нас браслеты, ой будет очень доволен, что накроет нас. Мы везде наследили. А когда нас застукают, упекут как раз туда, куда надо; точно тебе говорю, друг.

Крисанто Гуанчес — мрачный бронзовый мертвец — его не прерывал.

— Теперь мы не сопляки по пятнадцать годов, не безоружные, не по одному против двух. Я подсеку Кайфаса, а ты убережешь Бешеного Пса. Все до мелочи продумано, друг. В первую же ночь там, в Ла-Леоне; работаем чисто, ножи всадим — не пикнут. Что ты думаешь об этом, друг?

Крисанто Гуанчес встал с табурета, где сидел, выпрямился, будто воплощенное проклятие, произнес с такой злобой, какой Викторино за ним не знал:

— Я не позволю тебе упоминать о том, что случилось той ночью, и никому не позволю — той ночью ничего не случилось, понял? Ничего не случилось, будь ты проклят!

И снова стал каменным изваянием. Викторино понял, что одно лишнее слово, самое короткое, может привести к беде, ему не хотелось беды. Крисанто Гуанчес смотрел на него с ненавистью, впервые за все годы их дружбы. Глухая ненависть к Викторино вспыхнула в груди Крисанто Гуанчеса и жгла еще часа два, пока наконец не затухла.

Светлое воскресенье обрывается, потому что Викторино летит кувырком вниз со своих кудрявых облаков. При этом у него так и чешутся руки от веселой охоты подраться с кем-нибудь, и он вдруг ощущает страшный голод, голод доброй сотни людей, потерпевших кораблекрушение. Щиколотка ноет по-прежнему. Слышится веселое чириканье Газельки в многообещающем перезвоне посуды на кухне. Просто адский голод точит ему нутро.

В дверь стучат. Беззубый Пьерро испуганно и поспешно выскакивает из своего угла. Говорит, что его зовут Гильермо, и продолжает скакать, как жаба. Викторино его успокаивает:

— Открывай, не бойся. Это мой друг, Крисанто Гуанчес.

Но этот беззубый Фома неверный плюет на метафизическое ясновидение. Осторожно подкрадывается к двери и сквозь замочную скважину убеждается, что, конечно же, это Крисанто Гуанчес.

Крисанто Гуанчес шепчется с Викторино более получаса. Вернись в семь вечера, говорит он на прощание, и возвращается, как обещал, ровно в семь. В этот, второй раз, Беззубый, называющий себя Гильермо, подскакивает к двери и открывает без всякой боязни. Нога у меня уже не болит, думает Викторино. Он наглотался аспирина, подремал минут двадцать, растянувшись на пружинном рабочем месте Газельки. Услужливо Без-

вубый помогает ему встать и дойти до двери. Викторино выходит из дому, опираясь на плечо Крисанто Гуанчеса. Газелька говорит ему «прощай» с милостивой улыбкой — последним свидетельством ее поистине герцогского (Германтова) гостеприимства. У самого тротуара тихо подрагивает голубой «олдсмобиль», только что уведенный с Ла-Ринконады. Его бывший владелец, видно, большой любитель скачек: вся машина завалена программками с ипподрома и фотоснимками коней-победителей. Викторино с первого взгляда узнает человека за рулем — он слышал, с какой похвалой отозвался однажды о нем Крисанто Гуанчес. Фамилия его не то английская, не то тринидадская, что-то вроде Робинсона или Мэтисона, — Викторино не может сейчас припомнить. Рядом с водителем восседает Карениньо, который приветствует Викторино посвистом сойки. Викторино ныряет на заднее сиденье, его колено ударяется о колено человека, лицо которого скрыто темнотой. Когда тот заговаривает, Викторино узнает его по голосу. Это Попик, его кличут Попиком, потому что он самозабвенно крестится перед каждым налетом. В «Раю» они как-то раз чуть было не схватились на ножах. Спор разыгрался по поводу мужской силы каждого из них — с проституткой под боком. Попик хвастал, что он хоть куда. Семь раз кряду! — орал он. Лучше не вспоминать о том дурацком вечере, оба были пьяны в доску. Крисанто Гуанчес разнял их, встал между ними, когда они уже вытащили ножи. Крисанто Гуанчес помирил их месяц спустя, и вот теперь Попик сидит рядом. Попик дружески протягивает Викторино оружие. Это — «пушка» с длинным стволом, из арсенала полиции. Викторино ощупывает затвор. У Крисанто Гуанчеса меж колен зажат автомат. А у тебя, Карениньо? У Карениньо в кармане бельгийский пистолет последнего образца. А у тебя, Попик? У Полика новехонький «кольт» тридцать восьмого калибра. В нашей лодочке все с веслами, — громогласно подводит итог Крисанто Гуанчес, а «олдсмобиль» в это время уже оставляет позади бедняцкие кварталы Про Патрия, взлетает на выжженный солнцем косогор, ныряет в район Сан-Мартин, пересекает тенистые улицы Эль-Параисо, лавирует, покачиваясь, в потоке автомашин на Пуэнте Йерро. Лучи встречных фар и неоновые блики реклам омывают его ливнем света,

но, к счастью, такой «олдсмобиль» вне всяких подозрений и к пассажирам не придерешься — все, слава богу, (кроме Викторино в его архиепископски-лиловой рубахе), одеты, как шаферы на свадьбе, в лучшее, что сумели стибрить. Викторино сжимается в комок между Крисанто и Попиком. Машина держит путь прямо к Восточному району.

С такой багареей, Бланкита, мне думается, мы идем на крупное дело, но я пока не лезу с расспросами, Бланкита, погляжу, что дальше будет.

Человек с крючковатым носом собирается запирать дверь ювелирного магазина; рядом угодливый, как пономарь, копошится приказчик. Викторино и Крисанто Гуанчес выскакивают из тени. Минуточку! Викторино уже не хромает и никогда больше не будет хромать. Правой рукой схватывает хозяина ювелирного магазина за глотку и в ярости швыряет его прямо на витрину с часами. Приказчик под дулом автомата Крисанто Гуанчеса дрожит, как овечий хвост. Попик мгновенно кидается к кассе. Карениньо разбивает стекло прилавка рукояткой пистолета; его руки, погруженные в пробоину, быстро сгребают и вытаскивают на свет божий кольца и ожерелья. Револьвер Викторино заставляет хозяина отступить в глубь магазина. Где остальные деньги? Крисанто Гуанчес оставляет приказчика и тоже спрашивает. Говори, или тебе крышка! Человек молчит. Где остальные деньги, гад? Викторино стучает его по голове револьвером, кровавый червячок ползет по желтому голому черепу. Крисанто Гуанчес тычет дулом автомата ему под ребро, тогда человек с крючковатым носом перекатывает испуганные зрачки вправо, в сторону лестницы, которая упирается в замаскированную дверь на чердак. Они поднимаются вслед за крючконосом, автомат Крисанто Гуанчеса подталкивает его клетчатый зад. Крупная выручка хранится в черном кожаном портфеле, кожаный портфель заперт в ящике письменного стола, этот стол ювелир открывает в такой смертной тоске, будто собственноручно вспарывает себе живот. Крисанто Гуанчес опускает автомат на пол, чтобы взять деньги, и тратит две минуты на то, чтобы опутать хозяина веревкой с узлами, хитрыми, как на почтовой посылке, и всунуть ему кляп в рот. Глаза крючконосого Аввакума пророчески сверкают среди ножек письмен-

ного стола, «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне». Когда они спускаются вниз, Крисанто Гуанчес тащит оружие, а Викторино баюкает на руках черный портфель. Внизу стоит приказчик в необратимом одепенении набальзамированного фараона — результат безупречной работы Попика: сто оборотов веревки вокруг щиколоток, руки ессе homo¹ скрещены на животе, плотная повязка под носом. Карениньо уже набил драгоценностями чемоданчик. Викторино выходит первым, за ним — Карениньо, третьим — Попик, шествие замыкает Крисанто Гуанчес. У тротуара тихо подрагивает «олдсмобиль». Мэдисон тотчас страхивает с себя притворную дремоту и обеими руками хватается за руль. Впереди развертывается улица, тихая и провинциальная, только какая-то жирная супружеская пара созерцает витрину на противоположном тротуаре. Неплохое было дельце, а, Попик? Хватали тысяч на тридцать, а, Викторино? Всю свою часть спущу на девок, говорит Карениньо, ласково поглаживая круглые бока чемоданчика. А я куплю домишко своей старухе, ханжески мямлит Попик. Все спущу на виски «Черная этикетка» и на девок, настаивает Карениньо. Остальные помалкивают о своих намерениях.

Я ненадолго смоюсь в Колумбию, Бланкита; если эти суки из Полицейского меня накроют, Бланкита, они меня пристукнут, я их знаю, уеду в Колумбию; жалко, что ты раненая в больнице, а то взял бы тебя с собой, потанцевали бы кумбию в Санта-Марии, Бланкита, эх, было бы здорово.

Викторино хватает автомат, который молча привалился к бедру Крисанто Гуанчеса, к трупку Крисанто Гуанчеса, выражаясь точнее. Выстрел угодил прямо в ватылок. Такие пули не отпускают грехи за милую душу, они приговаривают только к смерти, едва их изрыгнет дуло винтовки. Викторино прикладом автомата разносит вдребезги заднее стекло машины и начинает строчить в острозубую брешь.

Такая продуманная операция, такое чистое дело — кто бы мог представить себе подобный исход? Окруже-

¹ Слова Пилата — «се человек», относящиеся к Христу.

ны пятью, нет, пятьюдесятью полицейскими, целым полчищем полицейских, которые стреляют, чтобы сделать из тебя решето. Загнаны, как крысы в западню, в уличный тупик. Не спастись никому, разве только Карениньо, который убежал по крышам с драгоценным чемоданчиком и черным портфелем. Но и Карениньо едва ли спастись; это было бы чудо, ниспосланное провидением, если оно захочет вмешаться.

Уже остались далеко позади и ювелирный магазин, и подмигивание увеселительных заведений на Сабана Гранде, и круговоротная толчея на площади Венесуэлы, и улюлюкающие стадионы на авениде Рузвельта. «Олдс-мобиль» неся к стенам Центрального кладбища, к тому месту, где они должны были разойтись, чтобы поутру снова встретиться. Будем делить добычу на Тарпейской скале, в ранчо Черной Клотильды, разошьем пару бутылок; ты, Попик, еще повозишься с ней, как всегда,— сказал Крисанто Гуанчес. Черная Клотильда ждала их, сгорая от нетерпения и от трех своих главных греховных страстей: алчности, сластолюбия и неумемной любви к крепкому рому.

Викторино отчаянно отстреливается, свирепо сдвинув брови и до боли сжав зубы,— сам Давид (творение Бернини) с автоматом в руках. Эта французская тархтелка типа «гочкисс», весело искрясь, выполняет свое назначение. Викторино вынужден локтем отпихнуть труп Крисанто Гуанчеса, который наваливается на него каменным грузом, мажет липкой кровью, мешает разворачивать автомат. Попик изредка постреливает из револьвера через левую дверцу. О Мэдисоне говорить не приходится — он ранен первым же залпом и хрипло стонет, судорожно прижимаясь к баранке.

Всему виной был Мэдисон, кто бы мог подумать. Мэдисон, этот матерый волк, холодная голова — в преступном мире столицы не сыщется другой такой водитель, когда спасение зависит от машины. А этой ночью Мэдисон растерялся, случилось невероятное. Они встретились с патрульной автомашиной, которая ехала из Лос-Росалес; с безобидным радиопатрулем, который колесил по улицам, лениво неся свою службу, и никогда не обратил бы на них внимания, если Мэдисон вдруг не потерял бы власть над собой. Без всякой надобности он резко рванул вперед, круто свернул налево на первом же пе-

рекрестке, полез прямо на красный свет, не взглянул на дорожный знак-стрелку.

Бедняга Мэдисон смертельно ранен в спину пулей навывлет; его рвет кровью прямо на баранку, трясет в агонии, хрипящего, теряющего сознание. Карениньо убежал с добычей, получив согласие остальных, — отчаянная попытка спасти что-нибудь в этой свинцовой буре. Последними словами Крисанто Гуанчеса были: «Ты, Карениньо, драпай отсюда, бери чемодан и бумажки, ныряй вон в ту дверь, лезь на крышу, беги, потом увидимся, беги...», тут и сразила его пуля, угодившая в затылок. Карениньо повинуется приказу теперь уже мертвого главаря, чудом увертывается от четырех пуль, растворяется во тьме дверного проема и сейчас карабкается по крышам. Его может спасти только провидение, весь квартал оцеплен смельчаками из полиции.

Именно потому, что Мэдисон попер на красный свет, плюнул на дорожный знак, патруль заподозрил неладное и стал их преследовать: сначала нехотя, для порядка, но затем прибавил скорость, видя, что Мэдисон поддает газу. Куда прешь, болван? Сворачивай направо, дубина! Но Мэдисон не слышал воплей Викторино и Крисанто Гуанчеса, он перестал быть Мэдисоном. И патруль взялся за дело всерьез, припустил за ними со скоростью ста километров в час, включил взрепевшую сирену, дал предупредительный выстрел. Что случилось с этим Мэдисоном?

Вот он, смертельно раненный, а может быть, и мертвый. Он уже не стонет, уже не дергается, бедняга Мэдисон, и все по своей вине. Слышится сдавленный злобный голос Попика: Патроны кончились, чтоб вашу... В следующий же миг он совершает то, что задумал: открывает дверцу и бросается наружу. Фары полицейской машины освещают человека, ползущего на коленях по цементу, вопящего: Сдаюсь! Сдаюсь! Не убивайте! Человек начинает плакать. Викторино остается один в автомобиле. Крисанто Гуанчес мертв. Мэдисон тоже мертв. Викторино продолжает строчить из автомата, совсем один, совсем один, совсем.

Патруль просил подкрепления визгом сирены, вспышками сигнального фонаря, по радио — сеял тревогу и просил подкрепления. «Олдсмобиль» был быстрее полицейской машины, и ему удалось оторваться от пре-

следователей, скрыться из виду — сирена выла далеко позади. Мэдисон уже овладел собой и нажимал на педаль, как сам Фанхио¹, Мэдисон стал Мэдисоном. Попик дважды разрядил револьвер в сторону полицейских — два деликатных предупреждения полиции быть благо-разумней. Вера в свою счастливую звезду снова вселилась в душу Викторино, но на время все же придется смыться в Колумбию. Карениньо опять подумал, что все-таки стоит спустить свою долю на девок.

Попик продолжает ползти на коленях и кричать «сдаюсь!», но на него не обращают внимания. Викторино уже привык к свисту юрких пуль, к их звяканью по металлу машины. Он не выпускает из рук автомата, хотя и сам не знает почему. Бланките не спится, во тьме, на больничной койке ей не спится. Мама тоже не смыкает глаз этой ночью. Обе слышат далекие выстрелы, предсмертные крики; им чудится, что они слышат. Викторино возвращается из оврага, где встретил Крисанто Гуанчеса, под тем самым мостом, где стал его другом, навсегда, ты помнишь, Крисанто, брат мой? Голос попугая дона Руперто слышится над выстрелами, руганью полицейских и грохочущей тьмой ночи: Будь здоров, гад! кричит попугай.

Дьявольское наваждение, злые чары овладели Мэдисоном — другого объяснения нет. Фары патрульной машины уже светились сзади тусклыми огоньками, полиция уже отказывалась от погони. Отстали, сволочи! когда вдруг Мэдисон на всем ходу кинул «олдсмобиль» прямо в пасть этой улицы, слепой, тупиковой, похоронной. В один миг тормоз оборвал бегство, они уткнулись в грозную стену. Уголовная полиция, Полицейское управление, муниципальная полиция, национальная гвардия, армия — все вооруженные силы республики включились в этот неравный и жестокий бой. Крисанто Гуанчес мертв, Мэдисон мертв, Попик захлебывается рыданиями, потому что никто не внимает его мольбам; Викторино обезумел, совсем обезумел, тряся обеими руками пустой молчащий автомат. Где-то среди выстрелов звонко булькает в репродукторе невыносимая музыка: «Глупый бык, влюбленный в луну». *Я хотел сказать тебе, Бланките...*

¹ Известный аргентинский автогонщик 50—60-х годов, пятикратный чемпион мира.

ВИКТОРИНО ПЕРАЛЬТА

— Алло, алло, Хиомара, послушай-ка, я нарочно встала так рано, сейчас семь часов, я специально встала пораньше, чтобы рассказать тебе о празднике у Лондоньо. Ты умрешь. Нене Лондоньо исполнилось пятнадцать лет, представляешь, уже пятнадцать, а помнишь, совсем недавно она сопли распускала на уроке математики? И на уроке географии? А тебя к ней не пригласили, наверное, потому, что ты живешь не в Кантри, а в Лас-Делисьяс, так я думаю. Но можешь не горевать, кубышка, потому что там жуть что было, такой страх, такой срам, стриптиз и еще почище. Можно сказать, скандал века, просто умрешь. Мы туда отправились с папи и мами очень рано, потому что одну меня с моим братом Хулиито никуда не отпускают, потому что Хулиито приклеивается к бутылке с виски, как этикетка, и совсем забывает про сестру, и «о'кей» не получается, а по правде сказать, когда эта самая Нена Лондоньо пришла к нам — вся в кудряшках и ленточках — приглашать меня к себе неделю назад, я уже тогда почувствовала, что выйдут одни неприятности из этого приглашения. Ну так вот, Хиомара, приехали мы рано, и были там одни только родственники и несколько мальчишек, и среди них эти карлики Кастрильо, такие страшненькие, бедняжки, и маленькие, что если бы они раньше всех не приехали, им бы к столу не пробиться. Подожди минуточку, мне вдруг захотелось пи-пи, здесь где-то был горшок, ой, я сейчас, не вешай трубку, я уже, Хиомара, слушай. Так вот, весь дом Лондоньо — сплошная иллюминация, а у входа, ты сейчас просто ляжешь, два полицейских в полной форме, и стояли они чурбаны чурбанами, когда скандал разразился, а Нена Лондоньо, представь себе, даже очень ми-

до выглядела, наверно первый раз за всю жизнь. Ничего не скажешь, видно, родители как следует потратились на ее платье, которое привезли из Парижа, из Франции. С ума сойти, наверно, от Кристиана Диора, белое, все шитое бисером, а туфельки — куда там Грейс Келли или Жаклин, а я была в розовом платьице, в общем простеньком, но очень элегантном, все получилось о'кей, мне его шила портниха моей мамы, а она шьет — первый класс. Знаешь, ты сейчас умрешь, только никому не говори, Хиомара, я недавно закрутила с одним потрясающим мальчиком, просто супермен, только обритый наголо, потому что недавно он поступил в католический университет. Ну да ладно, об этом я расскажу потом. Так вот, у дам были крошечные книжечки, куда записывают приглашения, как во времена моей бабушки. Родители Нены Лондоньо считают, что эти бальные танцы — высший шик, а на самом деле — все старье и чепуха, и, ты знаешь, вот беда, моя мама увидела, что у меня в книжечке четыре раза записано имя моего мальчика, его зовут Хэролд, умереть можно, правда? Мама сразу же задала мне взбучку, она всегда бывает злая до того, как выпьет третий бокал шампанского, потом-то все в порядке, становится шелковая, знаешь, а стол был — просто мечта, и на том свете, наверно, такого не будет, ты ведь такая обжора, Хиомара, наверно, сразу подумала про стол. Сейчас я опишу тебе все по порядку, нет, не все, а самое главное, что там было. Во-первых, холодная индюшати́на и, кроме того, жареный индюк целиком, потом — большая свиная голова, лежит себе и улыбается, потом ростби́ф, я его больше всего ела, ох, знаешь, как вкусно; мясо под соусом из шампиньонов, красная рыба в майонезе, ветчина и салаты там были — сладкие и кислые, и паштет тоже неплохой. Подожди, я чуть не забыла про лангу́сты в таком белом соусе, знаешь, как зубная паста, и еще много всякой вкуснятины на длинном-предлинном столе, шикарно, изумительно, я шла к столу с моим лысенки́м, с Хэролдом, я тебе называла его имя? И сама взяла на двоих: ростби́ф для обоих, паштет для себя и жареной индейки для Хэролда. И красного вина тоже, конечно, для Хэролда. Нет, ты сейчас умрешь — Далия шесть раз подходила к столу, вот смех-то! Ей пришлось наполнять тарелки шести разным мальчишкам, ну, они, наверно, за это простили ей, что она такая

толстая, простили, наверное, и то, что она такая глупая, а танцевать так и не пригласили бедняжку Далию, потому что она всегда наступает на ноги. А ты, наверное, все еще вздыхаешь о своем головастике, ну и дурочка, знаешь, он был на балу в смокинге, который висел на нем, как на вешалке, — наверно, напялил отцовский, а ведь доктор гораздо толще его. Послушай меня и подумай хорошенько, твой головастик даже к столу не подошел, кубышка, а вот от бара с бутылками его никто оттащить не мог, напился вдребезги, весь вечер совал деньги лакеям, и они подносили ему раньше, чем другим. Тогда сеньор Лондоньо, по приказу сеньоры Лондоньо, ты же знаешь, он у нее под каблуком, так вот, сеньор Лондоньо распорядился убрать виски, но головастик тогда переключился на каню как ни в чем не бывало, кубышка. И будет лучше, если ты его навсегда выкинешь из головы, навсегда, «тужур», ну и понятно, Хиомара, что на вечер пригласили эту певичку Бильо и еще целый ансамбль, чтобы играть в перерывах между танцами. И Бильо показала им, наверное, впервые, что такое музыка «йе-йе». В общем, ерунда, я чуть не умерла от скуки, поцелуйчиков не было, ляжками не толкались, подумаешь, какой грех. В общем-то, было много огней, полно публики и, конечно, была эта с зелеными глазами, ты понимаешь, из тех самых — «всему свету отказу нету», я не хочу называть ее по телефону, могут подслушивать, она никогда не теряет времени, ох, и девочка, что сверху, что снизу, просто жуть, пробы ставить негде. Все мальчишки хотели танцевать с ней — «следующий танец со мной», «следующий танец со мной», нарасхват приглашали, ее прозвали Золотая Ляжка, эту Трини. Ой, боже мой, я назвала ее, пожалуйста, не говори никому, ну, ладно, кубышка, а когда я пошла в туалет, Хиомара, я там встретила целое общество, там были три девочки, которые действительно пришли сделать пи-пи, но были и такие, кто пришел по-взрослому покурить, была там и Леонорсита, она притворялась, что у нее болит голова, а на самом деле ее тошнило, она индейки объелась. Была и Мими в своем единственном платье небесно-голубого цвета, ты его знаешь, а еще Инесита, та самая, которая подбирает все, что плохо лежит. Какой позор! Правда, это безделушки — духи, или пудреница, или губная помада, но ведь страшно подумать, так может ис-

чезнуть и бриллиантовое ожерелье, за милую душу. Бедная Инесита не может управлять своими чувствами, мой лысенький говорит, что она клеptomанка или там клеттоманка, как это называется, а мне сдается, она просто воровка, ей-богу. Подожди, постой, Хиомара, сейчас я тебе расскажу, кубышка, сейчас все расскажу, но ты только послушай, какой там был шикарный бассейн, весь освещенный голубыми и розовыми лампочками, такая прелесть, в нем плавали всякие растения, а посредине лотос, совсем как в Японии, а рядом белый лебедь, с ума сойти, совсем как в фильмах с Юлом Бриннером, тоже лысенький красавчик, такая прелесть, я просто обожаю лысеньких, ну ладно, душечка, перехожу к самому главному, нет, погоди, представляешь, там был такой торт, не торт, а чудо, мы все на него набросились, я съела свою порцию и даже порцию мамы, она ведь не ест сладкого, после пятого бокала шампанского она совсем осовела. Ну да ладно, сейчас ты упадешь и не встанешь. Только кончили танцевать котильон, начали играть какую-то гадость, затрещали трещотки, загудели дудки и будто лягушки заквакали, притом стали еще кидать серпантин и всякие бумажки. Это уже играла не Бильо, а приглашенный ансамбль заиграл вальс, кому это пришло в голову заказать вальс? Такая отвратительная музыка. Подожди, Хиомара, одну минуточку, постой, сейчас ты просто упадешь и не встанешь: вдруг с холмика вниз, прямо от главной аллеи, какой ужас, видим, бежит какая-то женщина к веранде, ох, душечка, в одних только панталонах, нет на ней ни бюстгальтера, ничего, грудь голая, одни красные панталоны с черными кружевами. Прямо с ума сойти. Это была женщина, которую называют Монна-Лиза, да, та самая, я узнала имя потом, мне его сказал Тите, бежит она по травке с холма, эта Монна-Лиза, почти нагишом, Хиомара, и все так и остолбенели. Тогда она как закричит, как завертит бедрами около бассейна: здесь находится бардак Пибе Лондоньо? Это еще не все. Она пришла не одна, какое там! За ней следом, за этой Монной-Лизой, явились в одних трусиках, знаешь, кто? Викторино Перальта, и этот самый англичанин Уильям, и этот псих Рамунчо. Ты их хорошо знаешь. И все в одних трусиках. Я просто не знала, куда глаза девать. Голые по пояс, выхваляются своими мускулами, знаешь, кубышка, какие они здоровые, гири поднимают, а лица

у них совсем бандитские. Я просто видеть не могу эту шайку. Весь праздник испортили. Они думают, что лучше всех, они думают, что они сам господь бог. Дикари они форменные, вот они кто. Пстой, послушай дальше. Оказалось, что их не пригласили. Их, видите ли, обошли, и они решили отомстить, сделать по-своему, Хиомара. И самое возмутительное, никто из гостей пальцем не двинул, будто ничего и не произошло. Одни смотрели на всю эту гадость с любопытством, другие — словно одеревенели от страха или в штаны наложили. Тогда вдруг явился из дома сам доктор Лондоньо, разозленный как черт. Стал их ругать бандитами, хулиганами, убирайтесь, мол, из моего дома, и набросился с кулаками на этих идиотов. Ой, Хиомара, что тут было! Викторино как схватит за грудь доктора Лондоньо, отца Нены, хозяина дома, представляешь? Да как швырнет в бассейн, а доктор как был во фраке, так и плюхнулся среди лотосов и лебедей. И барахтается там, как пингвин или белый медведь. Просто ужас, ты не смейся, Хиомара, и глядеть-то страшно было, и зло разбирало. А Чина Гордиельес вдруг как заревет, как сумасшедшая, с ней случилась настоящая истерика, ты ведь ее знаешь, а Рамунчо, это чудовище, как схватит ее за плечи, бац — и тоже в воду, да ты не смейся. Я стою ни жива, ни мертва, а бедная Чина захлебывается среди лотосов в своем белом газовом платье, совсем как Офелия, сказал мой лысенький. А кто она, эта Офелия? И еще одного старикашку кинули в бассейн, знаешь, из тех, которых называют поколением двадцать восьмого. А в мистера Вильсона запустили целым апанасом, чуть челюсть ему не свернули, а потом через парадную дверь ворвались в дом, стали бросать на пол вазы, опрокидывать столы, срывать гардины, Монна-Лиза впереди, Викторино — позади, ну, разве не дикари, а? Да нет, Хиомара, что ты, полицейские и не думали вмешиваться. Папаши девушек стали кричать: Разбойники! когда они уже убежали; стали кричать, они, мол, за это дорого заплатят, мы будем на них жаловаться, мы напечатаем в газете их имена и фамилии, мы их пристрелим, один даже вытащил револьвер — когда они все уже убежали. Тоже умник нашелся, когда они все уже убежали, и никто ничего не сделает, я тебе говорю, душечка. Ведь их папаши — закадычные друзья, лучше позабыть обо всем, не предавать дело огласке. Разве бу-

дет драться доктор Архимиро Перальта Эредия с доном Филиберто Устарисом? Потому что там был также Эсекьель Устарис. Он тоже участвовал в этом безобразии, я их просто ненавижу, этих хулиганов, хвалятся своей мускулатурой, дерутся нахально, знают, что всех осият, вот и издеваются над людьми, и радуются, а потом убегают. Все они такие, я их до смерти ненавижу. Ой, послушай, я забыла тебе рассказать, что Хэролда, моего лысенького, тоже кинули в воду. Представь себе, нет, только представь себе! Он был в новеньком смокинге, который ему так шел, да еще он плавать не умеет, ты только представь себе, его вытащил их шофер, еле откачали, делали искусственное дыхание, какой кошмар! Даже плакать хочется, правда, кубышка? Чао, кубышка! Я совсем расстроилась, кубышка, чао.

Викторино оставил их хохотать и потешаться над осколками разбитого праздника Нены Лондоньо. Монна-Лиза распрощалась с остатками своего одеяния и нагишом носилась по улицам Кантри — леди Годива верхом на мотоцикле Рамунчо. Викторино оставил их веселиться и ведет свой «мазератти» вверх по Панамериканскому шоссе, вверх, к туманам, подальше от Лос-Текес, подальше от Лос-Колорадос, в сторону Гуайяс, к ущелью, где собираются скопища леших, которые обычно бродят в одиночку по долинам Арагуа. Или, может быть, не лешие, а просто голоса гор призвали его к себе. «Мазератти» начинает спуск, Викторино ни с того ни с сего включает радио, — неожиданно из металлического ящика вырывается оркестр берлинской филармонии, неожиданно из деревянного ящичка вырывается «Фантастическая симфония». Такая музыка Викторино не знакома, но романтическая мольба скрипок не позволяет ему прихлопнуть ее. Когда стихли скрипки, заплакала валторна, одинокая и печальная. *Хватит с меня барахтаться в этой блевотине*, подумал Викторино. Викторино должен уехать из этой несчастной страны, Мальвина, из этого эмбриона страны, из этого зародыша родины, законсервированного в бутылке со спиртом. Его единственным багажом будет воспоминание о вас, он сядет на трансатлантический лайнер, носящий имя Мальвины, но пересечет моря, пахнущие Мальвиной, под небом цвета

Мальвины он сойдет на берег в порту, где никто не будет знать, кто он, поселится в каком-нибудь тихом предместье, где часы, возвещая полночь, будут повторять двенадцать раз подряд имя Мальвины. А вы останетесь заживо погребенной в этой тюрьме, желающей казаться страной, вы — гладиолус утренней мессы, лилия теннисной площадки, гвоздика за тенистой оградой, тюльпан на клумбе, незабудка у радиолы, *virgo potens*, *virgo clemens*, *virgo prudentissima*¹, пока не выйдете замуж, пока вас не выдадут замуж за одного из сорокалетних друзей вашего дома, доктора права, или инженера, или биржевика. Никогда еще не было в Каракасе такой свадьбы. Викторино должен уехать из этой карикатурной страны, Мальвина. Церковь заполнена музыкой и светом, невеста диво как прекрасна, она кажется ангелом, эта невеста; вы торжественно шествуете среди шушуканья старух и звуков органа, вы согласны назвать его своим супругом? Викторино узнает эту новость где-нибудь в Копенгагене, случайно натолкнется на старую газету, на декабрьский номер где-нибудь в консульстве, увидит вашу фотографию в флердоранже и список блестящих гостей. Викторино предпочел бы прочесть о скоропостижной христианской кончине сеньориты Мальвины Перальта Ульоа. Какой страшный удар, какая боль в сердце. Но это легче перенести, чем... Он должен удрать из этой страны, Мальвина, по морям цвета Мальвины, добраться до какого-нибудь захудалого порта, где ему дадут работу грузчика, он будет пить джин в тавернах, пахнущих смолой и опилками, обнимаясь с матросами и проститутками, он станет рассказывать им о своей кухне и возлюбленной, они будут грубо хохотать над его излияниями, Викторино трахнет свой стакан о блестящую медную стойку. Он должен уехать из этой ужасной страны, Мальвина, взяв с собой только память о вас, чудесную память о вас, Мальвина. Воркованье арфы пробилось сквозь пение скрипок, как жалоба покинутой голубки, которая плачет под дождем; по мановению дирижерской палочки Караяна порывисто взметнулся и понесся вальс, «мазератти» в такт ему плавно огибает отроги горы. *Все дерьмо и я сам дерьмо*, думает Викторино. Его безумное увлечение обнаружилось тем самым

¹ Дева всемогущая, всепрощающая, всевидящая (лат.).

вечером, когда вы праздновали свой день рождения, Мальвина. Викторино танцевал с вами весь вечер, сам не зная почему. У него была подружка, Люси, которая безудержно редела, глядя, как вы оба танцуете: нехорошо, когда кузен и кузина так ведут себя. Когда-то вам нравилось носиться на его мотоцикле, прижавшись к его свитеру, и он чувствовал на своей спине тепло вашей груди; когда-то вы вместе плавали в бассейне и Викторино тихо скользил под водой, чтобы вдруг вынырнуть рядом с вами; когда-то вы его называли не Викторино, как все, а Индейский Вождь, почему Индейский Вождь? Но безумная страсть обнаружилась только в тот вечер, в ваш праздник. Люси рыдала под пальмами в саду и хотела бы умереть. Викторино танцевал с вами и только с вами, прижимаясь все теснее и теснее, все более забывая — и вы и он, вместе — о глазах, которые вас окружали. Просто невероятно, чтобы двоюродные брат и сестра... Викторино должен исчезнуть с этой жестокой и ядовитой земли, где все смотрят друг на друга злобно, как ростовщик, где каждый, куда бы он ни шагнул, тонет в ненависти и гряди, где всюду лианы ненависти, тростниковые заросли ненависти, Викторино должен бежать из этой страны, Мальвина. Он танцевал с вами и поцеловал вас в губы, плевать хотел он на всех. Мамочка, сидевшая у стола, не спускала с вас взгляда, двоюродные брат и сестра! Мамочка сидела бледная и онемелая среди бутылок шампанского и канделябров; Люси исчезла. Викторино впервые назвал вас «моя красивая собаченька», его пылающее сердце вечным волчком закружилось у ваших ног, он не может жить без вашего тела, Мальвина. Он должен бежать из этой страны, его сердце бьется у теней под вашими глазами, Мальвина, ему надо бежать, любым способом бежать из этой страны, из этой несчастной страны. Гобой и английский рожок льют свою пасторальную печаль. Утро уже воскресает над долинами, посветлели огромные седловины меж ближайших холмов, зеленые горы-храмы прорезаются из тьмы, черные быки бредут по серому небосклону, черные быки пасутся на голубых настибах, заново воссоздаются очищенные от ночной тьмы изменчивые очертания облаков. Из ущелий поднимается запах только что скошенной травы, аромат сахарного тростника, разносимый ветром; дурманит голову сладкое дыхание сотен,

тысяч цветущих деревьев. Флейта и кларнет чирикают среди волнующегося поля скрипичных колосков. Сколько оттенков зелени вокруг: от немощной, желтеющей в ближайшей лощине, до густой и таинственной, чернеющей в дальних ущельях. Уйти из этой страны, бежать от этих слишком красивых, орошенных росой пейзажей, послать к черту эти смиренные, готовые уступить человеку лощины и склоны. *Все сдаются, я не сдамся*, подумал Викторино, подумали вы и ваши упрямые чресла, Мальвина. Если Викторино останется с вами в этой стране, если откажется от своей ничем не ограниченной свободы, если растопчет свои принципы, которые велят ему не быть похожим на других; если он усмирит себя, чтобы жить под вашей сенью, как какой-нибудь кокер-спаниель, ушастый и мохнатый, как кокер-спаниель, отец Викторино подарит супружеской чете прекрасную усадьбу, зажатую со всех сторон этой бурной зеленью, а ваш отец, Мальвина, откроет вам солидный счет в National City Bank. Дон Викторино Перальта, поставщик чистокровных лошадей; дон Викторино Перальта, поставщик бычков породы «гольштейн» и цыплят породы «леггорн», — это он сам, а его прекрасная супруга Мальвина Перальта де Перальта, восседающая верхом на буланой кобылке, — это вы. Какое убогое счастье, какая деревенская скука, Мальвина. Викторино предпочитает бежать из этой страны, путешествовать с памятью о вас, крепко зажатой под мышкой, как портфель; предпочитает удар ножом в каком-нибудь кабаке Роттердама. Он ведь не кто иной, как грустный буян, Мальвина. Молодость больше всего поддается грусти, он зовет вас из своего удручающего одиночества, которое разделяет с ним только мотор его автомобиля. Вы ему не отвечаете. Ему отвечают аспидно-черные тучи, скапливаясь там, вдали. Он снова зовет вас, потому что ему нужно ваше тело, Мальвина, но ему отвечают только темные тучи, грохочущие вдалеке, как литавры; он зовет вас, зовет из своей покачнувшейся башни, Мальвина, но сейчас даже грязно-серые тучи ему не отвечают. Викторино должен бежать от этого безмолвия. Викторино увеличивает скорость «мазератти», его подгоняют своим резким грохотом литавры, своим воинственным кличем корнеты, своим гневным ворчанием контрабас. Влекомый бризом скрипичных смычков, подстегиваемый ритмом «Шествия

на казнь», «мазератти» дерзко рассекает воздух на два потока, на его ветровом стекле умирают, распятые, две желтые бабочки, «мазератти» — серебряный рёв, летящий вниз по горной дороге, как глас самого Иеговы. *Разве я не самый разудалый и лихой из нашей компании?* думает Викторино. Да, это так, Мальвина, Викторино Перальта запалил костер, чтобы сжечь в нем ученую мудрость бакалавра философии, Викторино Перальта тошнит от покорной уступчивости маменькиных сынков, Викторино Перальты слышать не желает о делах молодых революционеров; Викторино плевать хочет на рахитичных и вдохновенных поэтов-герметиков, у Викторино Перальты нет идеалов, и он гордится этим, зато у него крепкая грудь, Мальвина, крепкие бицепсы, крепкие челюсти, крепкое сердце, если оно понадобится; зато он собственник и водитель этой мощной машины, которая повинуется его рукам, его ногам, его крикам, Мальвина, как ослик соседнего булочника. Шины фальшиво шелестят на поворотах, шины верещат, раздраженные слащавым визгом фягота, пришпоренные нервным пиццикато скрипок. Спидометр показывает сто десять, когда они обходят старый кремевый «додж», сто двадцать — когда они настигают голубой «бьюик», сто двадцать пять — когда они обгоняют черный «кадиллак», Викторино правит с безупречной четкостью, левая рука там, где полагается быть одиннадцати на воображаемом циферблате, правая — там, где должно быть три. Спидометр показывает сто тридцать, когда они пролетают мимо грузовика, который сдуру не хотел пропустить их, шофер крикнул ругательство, которое унес ветер. *Я любого крутану, как эту баранку,* думает Викторино. Викторино имеет полное право ехать со скоростью ста сорока километров в час, Мальвина, Викторино управляет этим страшным «мазератти», будто бы это ослик соседнего булочника; у Викторино в мозгу как на ладони каждая его гайка, каждый тросик, каждая капля бензина, и прибавьте к этому еще опыт Викторино, его мускулы, его реакцию, его нервы. Спуск со скоростью ста пятидесяти километров в час по горной дороге — это для него такое же безобидное времяпрепровождение, как для малыша прогулка в нарядной коляске. Викторино когда-нибудь все же сбежит из этой страны, Мальвина, он будет

участвовать в настоящих гонках, будет участвовать в международных автогонках в Монсе и в Ле-Мане. Викторино Перальта, улыбающийся, в шлеме, непревзойденная южноамериканская звезда, новый Фанхио. Гирлянды цветов и поцелуи белокурых девиц у финиша. Жаль, что разбился на последнем повороте английский чемпион. А Викторино будут осаждать фоторепортеры, Мальвина, его будут атаковать любители автографов. Викторино Перальта побил мировой рекорд, станут кричать громкоговорители. Да, то будет рывок наперекор времени и наперекор смерти, не то что эта любительская прогулочка, это шествие со скоростью каких-то паршивых ста шестидесяти километров в час по дороге, которую он знает как свои пять пальцев, Мальвина, в великолепной нарядной машине, которая подчиняется ему, как ослик соседнему булочнику. Внезапно капли дождя падают на зелень и на шоссе. Викторино продолжает мчаться навстречу грифельным тучам, которые громоздятся вдаль, навстречу беспощадному ливню, который уже рушится на него косыми струями огромных капель, который уже успел окрасить дорогу желтыми полосами грязи, сползающей с глиняных холмов. «Дворники» разрывают густую паутину воды на ветровом стекле. Тарелки оркестра Берлинской филармонии лягают при свете молнии. Викторино не снижает скорости, ее незачем снижать, незачем, но на повороте, где стоит рекламный щит Orange Crush¹, там все это и случилось — задние колеса «мазератти» занесло в сторону, покрышки заскользили по мокрому бетону, мощное тело машины устремилось по диагонали прямо к склону. Викторино прекрасно знает, что в этих случаях не тормозят, при скольжении и заносе тормозить нельзя. Викторино увеличивает скорость, Викторино нажимает на акселератор — этот маневр необходим, чтобы избежать столкновения слева, чтобы не упасть в пропасть справа. Викторино выполнил маневр чисто, и тут вовсе хлынул ливень, и тут из-за поворота выскочил этот фиолетовый автобус, битком набитый пассажирами и курами, переполненный детьми и песнями. Викторино в ярости на свою идиотскую судьбу резко повернул руль, «мазератти» на бешеной скорости прыгнул в пропасть — нет, не

¹ Апельсиновый прохладительный напиток (англ.).

Викторино прыгнул, нет: *Мальвина, собаченька моя, ох, сволочь, Мамочка...* думает Викторино. *Остобеневшие пассажиры фиолетового автобуса успевают услышать только серебряное звонкое ржание, которое пронзило завесу дождя. Онемевшие дети слышат удары молота о наковальни скал, слышат рев тромбонов, дробящийся о камни, и, наконец, бурный, яростный и жесткий финальный аккорд.*

Но симфония не кончается, Мальвина. По чудесному велению Орфея, сына Аполлона, или небрежению святой Цецилии, супруги святого Валериана, оркестр Берлинской филармонии продолжает звучать в глубинах пропасти, в мешанине раздавленных папоротников, покореженного железа, дымящихся обломков и его останков, да, Мальвина, его останков. Еще слышен шум ливня, но такой звонкоголосый, что трудно определить — бурлит ли это вода или бушуют ликующие ведьмы, устроившие неопределенный утренний пабаш у труппа юности. Визгливый и насмешливый ливень (буря, оседлавшая метлу) говорит экстравагантным языком Гёйи, голосом кларнета:

— Ты думал убежать из этой прекрасной страны, бедный мертвый мальчик, мы используем твоё семя как целебную мазь, чтобы наша иссохшая грудь стала упругой; мы употребим твою кровь как бальзам, чтобы разгладнились наши сморщенные ягодицы, твоё семя, смешанное с белладонной и мандрагорой, твою кровь, подслащенную опиумом и цикутой, бедный мертвый мальчик, который мечтал дезертировать из этой чудесной страны.

И как раз в это время малеет ветер, чтобы огрести останки Викторино, но ветер такой злобный, что трудно сказать, ветер ли это или хор монахов-капуцинов, которые гнусаво тянут самый мерзкий вариант *Dies Irae*, какой только можно себе представить:

*Dies Irae, dies illa,
Solvat saeculum in favilla*¹,
Черт поднимет свой хвостилье
И почешет свой задилье.

0

¹ Строки из католических заупокойных месс «День Гнева» и «Реквием»: «День Гнева — день сей, когда мир превратится в пепел» (кн. Сафония I, 15).

Это, конечно, монахи, святые братья ветра, давшие обет сорвать шабаш черных туч.

Мерзкие ведьмы оказались в явно невыгодном положении в этот утренний час, без летучих мышей, без тумана, при свете зари, перед которым бессильны их летающие метлы, черные обедни и непристойные тарантеллы. Зауспокойный хор монахов поддерживают участливые колокола папы Римского, звонящие в какой-то одинокой часовне.

Dies Irae, dies illa,
solvat saeculum in favilla,
Черт поднимет свой хвостиле,
Поскребет себе задиле.

Judex ergo cum sedebit
quidquid latet adparebit¹,
Подними ему хвостебит
И целуй ему задебит.

Наконец уносится прочь бешеный колдовской ритм дождя, побежденный непреклонной торжественностью ясных звуков. Очистились дали. Радуга яркой почтовой маркой приклеилась к небесам. С шумом и гамом бегут вниз по склону ущелья пассажиры автобуса, впереди дети, певшие песни, а вместе с ними пожарники в красной форме, жандармы в оливковых мундирах и крестьянки в белых платках. Толпа людей мчится вниз по откосу — оркестр в полном составе — к изумлению шмыгающих в разные стороны ящериц. Так закончилась симфония Берлиоза, Мальвина. Черная уродливая птица, расположившаяся было на умиротворенном челе Викторино, вспорхнула и полетела низко над землей, нелепо взмахивая крыльями,

¹ Там же: «Тогда воссядет судия и все тайное станет явным».

ВИКТОРИНО ПЕРДОМО

В этом доме воздух и все предметы пропитаны пыльным запахом архива. Кроме того, тут всегда царит страшная жара, как на невольничьем судне или в чистилище. Но эта жара — единственное дыхание молодости, или, скорее, молодой запальчивости. Стулья — какие-то страшные сооружения с черными подлокотниками, шестиугольными сиденьями и гербами, вырезанными на спинках. Такие могли бы стоять в церковной ризнице, но никак не в квартире нашего города — нефтяного, металлического, электрифицированного еретика. Огромный шкаф — акула или катафалк? — председательствует на этой ассамблее. Сквозь его стекла за вами наблюдают фарфоровые супницы и тарелки. Украшающие их золотые вензеля сплетаются друг с другом, как пары новобрачных. Здесь нет ни окон, ни слуховых окошек. Тяжелая гардина цвета старого золота, волос тициановских женщин или тёрнеровского неба наводит на мысль, что рядом точно такая же комната. В этом доме живут сеньориты Ларусс. Да, бакалавр, у них та же фамилия, что и у французского ученого, который издал словарь. Но они не француженки. Они из Куманá, а может быть, из Куманакуа. Всегда в своих строгих кружевных воротничках во вкусе Рохаса Пауля¹, всегда благоухают лавровишневым эссенцией. Никто не смог бы догадаться, как и кому это удалось. Кому удалось наладить контакт нашей Боевой тактической единицы с этими тремя виньетками, пережившими журнал «Эль Кохо Илюстрадо». Вероятно, только командир Белар-

¹ Учредитель Национальной академии истории, а также больницы для бедных в Каракасе в конце XIX в.

мино и я знаем, откуда тянутся онтологические корни их приверженности нашему делу. Они — спиритки. Но спиритизм их подрывной, стоящий на земной платформе коммунизма. Или, точнее, анархизма. Или... Они питают к нам материнскую нежность. У бедняжек никогда не было сыновей. Вероятно, их плоть,— я, пожалуй, рискнул бы поклясться на Библии — никогда «не ощутила дюйма льющего слезы эпидермиса», как говорит Неруда. Они закармливают нас финиковым вареньем и апельсиновым мармеладом. Угощают холодной водой из кувшина колониальной эпохи. Они с удовольствием предоставляют нам (а нам только на руку, что они — дамы из общества, как это ни парадоксально) свой дом для сборов накануне операций. По правде говоря, их больше всего привлекает наше оживление, волнение, подъем. Анхеле Эмилии Ларусс, старшей из трех сестер, перевалило за пятьдесят; она любит играть на арфе отрывки из концерта Генделя и поддерживает постоянную связь с наиболее воинственными душами потустороннего мира. Одной ночью она беседует с Савонаролой, другой — с Аугусто Сесаром Сандино¹. Среди умерших ее интересуют только борцы, не то, что Махатма Ганди. Вторая сестра Сильвия Мария, сорока восьми лет, пишет акварели и предпочитает роль медиума. Когда тушится свет, она чувствует, как по ее позвоночнику бегают мурашки и чья-то решительная рука движет ее руку. Единственный недостаток вызываемых духов — это их непреодолимое стремление вмешиваться в чужие дела. Они просто не могут удержаться от предсказаний, советов, соображений по поводу возможного исхода наших операций, хотя никто их не просит об этом. Сегодня к нам вдруг приближается Анхела Эмилия, согнувшись под тяжестью загробных откровений. Она говорит: Вчера вечером я беседовала с самим маршалом де Аякучо². Она говорит: И речь зашла о нападении, которое вы готовите. Она говорит: Я со своей

¹ Аугусто Сесар Сандино — руководитель вооруженной борьбы никарагуанцев против североамериканских оккупантов, убит в 1934 г.

² Имеется в виду Антонио Хосе де Сукре (1793—1830), национальный герой Венесуэлы, активный участник борьбы против испанского господства; титул Великого маршала Аякучо получил после исторической битвы при Аякучо (1824).

стороны и словом о нем не обмолвилась, оно меня не интересует. Она говорит: Маршал не вдавался в подробности, но он твердо уверен, что нападение не удастся. Она говорит: Он советует вам отложить его на другой раз. Она говорит: Он вас известит через меня о наиболее подходящей дате. Командир Белармино делает вид, что чрезвычайно тронут. Обещает отложить операцию. Он говорит: Прошу вас передать маршалу нашу бесконечную благодарность. А мы продолжаем собираться. Спартак (не тот мятежный раб, которого по ночам вызывают сеньориты Ларусс, а наш бравый товарищ из БТЕ) пришел сюда раньше всех. Я пришел вторым, он уже сидел, мрачный, в углу зала. Затем явилась Карминья в черном свитере и красной юбке — чем не 26 июля¹, отчаянная девчонка! Белармино наверняка спросит, неужели у нее в шкафу не нашлось юбки другого цвета. Карминья садится рядом со мной и открывает книгу, которую с собой притащила. Неужели у нее хватает мужества читать Политцера² в такие минуты? Впрочем, женщины способны на все. Кошусь уголком глаза. «Случай с отравленными конфетами», серия Седьмой Круг, ну, это еще ничего. Потом приходит Валентин. Сейчас же за ним Фредди. Я чувствую, как в моей груди начинает биться какая-то мокрая птица, но улыбаюсь а-ля Чаплин вновь вошедшим. От страха никуда не денешься, самое главное, чтобы об этом не знали другие или знали как можно меньше. Белармино пока еще не пришел. Не в его привычке приходить последним, что могло бы с ним случиться? Мы все пятеро думаем, это легко заметить, об его непредвиденной задержке — что могло бы с ним случиться? Внезапно обстановка меняется, Белармино уже здесь. Приветствует нас спокойно: Как дела? Именно в этот момент или чуть позже приоткрывается тускло-золотая гардина — и в зал wpłyвает Анхела Эмилия Ларусс, чтобы с волнением передать нам предостережение маршала. За нею шествует младшая из сестер, Ана Росарио Ларусс, со рока пяти лет, седовласая, в прошлом — рыжая, нишет

¹ День Национального восстания — кубинский праздником в честь штурма казармы Монкадо 26 июля 1953 г.

² Жорж Политцер (1903—1942) — французский философ-марксист, участник Сопротивления убит гитлеровскими фашистами.

стихи. В руках у поэтессы поднос с шестью чашечками дымящегося кофе. Я не верю в существование так называемых духов, исторический материализм хранит меня от этого, но... Предположим, что какая-то психическая сила, вполне материальная, просто психическая, воспринимается приемными антеннами Сильвии Марии Ларусс как бы от маршала, сообщающего свои предчувствия и выводы, в общем, чей-то мозг посылает волны в определенное место. Передача мыслей на расстоянии ведь тоже может быть наукой, черт возьми, а? Белармино что-то говорит. Еще раз напоминает, кто как вооружен. У Спартака — револьвер, у меня — тоже. Для Фредди мы раздобыли на время пистолет. У Валентина — свой. У самого Белармино — автомат. У Карминьи — полуавтомат. Участие Карминьи ограничивается тем, что она будет ждать нас в машине. Не слишком ли она вооружена для этого? Попробуйте поспорить с нею по этому поводу, она назовет вас трусом. Оружия сейчас при нас нет, но могло бы и быть. Сеньориты Ларусс отнюдь не пугаются, когда взирают на наши огнедышащие жерла. Они глядят так, словно они, сеньориты Ларусс, — любопытные бездельницы, глазающие на витрину с игрушками. В этой же зале сопит кот. Это не фарфоровый кот, а роскошный живой кот, поэтому я и говорю, что он сопит. Наверное, ангорский — такой у него величественный и коротасаровский¹ вид. Карминья гладит его по изгибающейся спине. Кот вкрадчиво мурлыкает и трется об нее — святоша и развратник. А все-таки паршиво, когда вдруг наступает тишина. Остаешься наедине с собой. И начинают лезть в голову мысли о прошлом, о настоящем, о том, что может случиться в туманном будущем, туманном от беспокойных мыслей и бесконечных вопросов: вдруг случится то, вдруг не удастся это, вдруг будет перестрелка. Вон старик на портрете веером распустил свою филантропическую бороду. Благородный и мудрый старец, но по глазам видно, что характер у него строптивый. Это, конечно, отец сеньорит Ларусс, царствие ему небесное. Завсегдатай и главный дух всех спиритических сеансов. Самое главное, чтобы другие не знали, велик или мал твой страх,

¹ Кортасар, Хулио (род. в 1912) — современный аргентинский писатель.

он во всех сидит, даже в Белармино, который в эту минуту чистит ногти пилочкой. Фредди и его шикарная автомобильная куртка шевелятся в поисках следующей, восьмой сигареты; Фредди закуривает одну от другой. Действительно ли Карминья читает или разыгрывает перед нами комедию? Кот все еще трется о ее ноги, требуя ласк, но напрасно. Эта тишина — настоящее свинство.

— Мы как-то угнали отличную машину, «линкольн», цвета морской волны, — Фредди прерывает молчание, чтобы рассказать о том самом нападении на ресторан «Ла Эстансия», о котором в таких игривых тонах сообщила хроника самых солидных газет. — Летучая Мышь высадил нас на углу и остался ждать с включенным мотором, а мы семеро быстренько шмыгнули в дверь, которая, будь она неладна, вела не в ресторан, а в какую-то забегаловку, сообщающуюся с рестораном. Мы тогда не готовились как следует, в ту пору мы были просто озорные парни, и больше ничего. Ну что ж, ребята, вперед! Мы прошли через эту забегаловку, которая была еще темной и пустой в девять вечера, и по длинному коридору проникли в бар ресторана, а в баре — весь пол в коврах, ни одного шага нашего не слышно. Народу было там порядочно, и шуму немало, кроме того, какие-то важные типы — из какой-то машиностроительной компании или металлургической, откуда я знаю, устроили банкет, справляли какую-то свою идиотскую годовщину. Красавчик был во главе нашей ватаги, командовал операцией с «томпсоном» наготове. Он как гаркнет на весь зал: Мы из Главного полицейского управления, из Дихеполя, и должны произвести обыск, нам известно, что здесь потребляют кокаин и другие наркотики! Я с ходу ринулся к полковнику в мундире, который говорил по телефону; в один миг левой рукой дал отбой, а правой ткнул пистолет ему в ребра и сказал этак ласково: Выкладывайте оружие и не двигайтесь. Труднее пришлось с поваром, который в трех шагах от меня жарил цыплят; он никак не хотел от них оторваться: Они же пережарятся, — и мне пришлось стукнуть его как следует по башке рукояткой пистолета, чтобы он наконец бросил своих цыплят и пошел со

мною, в общем, новар возглавил эту банду трусливых мозгляков. Там был и жандарм — этот жандарм за милую душу проглотил, что мы тайные агенты, подобострастно обратился к Красавчику и извинился, что этой ночью забыл свой револьвер дома, — еще одна заячья душа. Было там человек сто, а нас всего семеро, я вам уже говорил. Был там и дипломат в черной тройке, он решил шутки шутить с Дихеполем: Я не позволю, чтобы полиция меня обыскивала, сказал он. Красавчик нацелил ему «томпсон» прямо в пузо и ответил: Можете завтра жаловаться в наше управление, господин посол — и господин посол понял, что мы можем укокошить его, и дал себя обыскать. Попытались выкобениваться — остальные уже в штаны наложими — только две сеньоры, еще довольно свеженькие. Они насмешливо называли нас задиристыми мальчишками и нагло на нас поглядывали, пока Жирный Попугай не рассвирепел и не заорал на них: Чего на нас пялитесь, вы, шлюхи! Тогда они сразу присмирели. Кроме «томпсона», которым орудовал Красавчик, у нас с собой были еще две девятимиллиметровки, одна «никелировка» сорок пятого и две «пушки» тридцать восьмого калибра, не считая хорошенькой штучки, которую я отобрал у прохвоста полковника с обещанием возвратить по окончании обыска. Даю тебе слово, полковник. А удовольствие, прямо скажем, было ниже среднего — согнать все это стадо и построить в шеренгу, чтобы удобнее было работать. Операция, которую мы планировали на пятнадцать минут, отняла у нас почти час. И тут еще вваливается парочка в обнимку, он сразу почувал, что происходит что-то странное, и выдавил из себя улыбочку: Лучше пойдем в другое место, любовь моя. Но на них в упор нацелился «сорок пятый» Лаво Виктора: Здесь для вас самое место! Потом Жирный Попугай углядел сочное жаркое на одном из столов — с салатом, с жареной картошкой — все как положено, а он не успел победать. Уселся за стол и все слопал в полминуты, за это на следующий день ему дали забучку — мы ведь тоже как черти были голодные. Наконец, угрожая оружием, мы сумели всех, кто там был — посетителей, официантов, служащих, — оттеснить к стенам зала, и Верзила Родольфо решил напоследок повеселиться: А что, если нам поставить их на колени? Какой-то на-

смерть перепуганный посетитель в коричневых брюках, а может, они стали коричневыми от страха, услышал это пожелание и по собственной инициативе обратился к толпе: Дамы и господа, агенты хотят, чтобы мы встали на колени! И тут же всем скопом они кинулись на пол, как в церкви; эта сцена не входила в наш план, клянусь жизнью матери, но Красавчик решил воспользоваться этим и крикнул: Никакая мы не полиция, мы — налетчики, выкладывайте бумажники и драгоценности или получите пулю в лоб. Никто и не пикнул. Правда, полковник было заартачился, но я ему снова ткнул револьвером в бок, да еще одна толстуха прогнусавила антипатриотические слова: И это происходит у нас, в Венесуэле! Верзила Родольфо и Жирный Попугай собрали барахло, урожай был неплохой, сорок тысяч боливаров наличными, ценностей — навалом, часов — целая куча. Мы упрятали добычу в три чемодана, которые были у нас с собой, и на следующий день все передали в организацию. Вплоть до последней сережки. Нас было восемь полумертвых от голода, считая Летучую Мышь, — шесть учащихся Технической школы и двое безработных, то, что называется из необеспеченных слоев общества, — но мы считали позорным взять хоть один сентаво, который принадлежит революции; хотя иногда бывает и по-другому, и вы, и я об этом знаем. Ну, в общем, операция окончилась, Красавчик сказал: Пойду, прикажу нашим патрульным на улице, чтобы стреляли из пулеметов по каждому, кто попытается нас преследовать, — он сказал это очень громко и дважды повторил, потом пошел к двери на улицу, через которую мы должны были войти. Мы отходили за ним не снеша, держа на мушке все скопище, но когда подошли к автомашине Летучей Мыши, то одного не досчитались. Пропал Монсеньор, — сказал Верзила Родольфо. Вся беда была в том, что пока мы выясняли, все ли здесь и обнаружили, что нет Монсеньора, наш «линкольн» уже успел отъехать на добрых полквартала, а мы не знали, остался ли Монсеньор в ресторане или исчез еще во время операции — такое тоже бывает, — словом, черт его знает, что случилось с Монсеньором. Сейчас уже поздно возвращаться искать его, — сказал Красавчик. Пошел он к ..! — сказал Лапо Виктор, и мы покатили к университету. А этот паразит Монсеньор преспокойно по-

дошел к нам через полчаса в коридоре около главной аудитории. Свое исчезновение он объяснил тем, что обыскивал верхний этаж, когда Красавчик дал приказ отходить и ничего не слышал. Ей-богу, не слышал, сказал Монсеньор, я спустился по лестнице вниз, а они все еще стоят на коленях, никто не думает и пальцем шевельнуть, ни дать ни взять — собор святого Петра в Риме. Тогда, сказал Монсеньор, выхожу я на улицу и беру такси, которое подвозит меня сюда, прямо к звонку, за три болизара, которые Красавчик одолжил мне сегодня утром. Вот и весь рассказ, дайте сигару, говорит Фредди.

Это нападение во вкусе Рокамболя на освещенный ресторан, эта живописная сцена с коленопреклоненной публикой — все это ерунда, мы действительно были озёрными мальчишками, говорит тихо Фредди; все эти смешотворные выходки уже в прошлом. Сейчас словари выплевывают более страшные словечки: ненависть, избиение, расстрел, репрессии, раны, тайная полиция, горе, умри!, штык, тюрьма, Качино, Ла Исла, Сан-Карлос, Эль Вихия¹, шрам, автомат, полуавтомат, пистолет, лагерь, «кольт» сдавайся!, агония, похороны, шпик, ссылка, допрос, молчать!, голод, кладбище, команда, жажда, кровь, огонь!, тайная сходка, страх, донос, расстрел, убивать. Кто начал убивать? Они начали преследовать, они начали убивать, мы прибегли к насилию, чтобы защищаться, а потом насилие стало всеобщим, превратилось в систему, стало насущным, как хлеб, как воздух. Чужая жизнь стоит два сентаво, не больше. Собственная жизнь стоит четыре сентаво, чуть больше. Книги и гимны обратились в наши выстрелы, в их залпы. Они помещают на страницах большой прессы фотографии своих убитых. Полицейских агентов или жандармов с размноженными черепами, в залитых кровью мундирах, вдов и сирот, обливающихся слезами на похоронах по третьему разряду. Мы публикуем в размноженных на мимеографе листовках списки павших товарищей, погибших в бою, расстрелянных в горах, повешенных на

¹ Названия тюрем и концлагерей.

деревьях, умерших под пытками, тех, кто покончил с собой, — они числятся самоубийцами, но...

Командир Белармино участвовал в вооруженном нападении (сам он никогда и никому об этом не рассказывал, а мне и не надо, чтобы он об этом рассказывал, я читал в газете описание человека, который командовал операцией; я обратил внимание на то, как протекала эта операция, и могу поклясться, что руководил ею Белармино). Он участвовал в вооруженном нападении, где убил четырех человек: двух кассиров и двух клиентов, — эти отказались поднять руки вверх, один из них полез за чем-то в карман, командир уложил их на месте пулеметной очередью. Без сомнения, это был Белармино. Газеты поместили на последней полосе фотографии трупов в распахнутых рубашках, чтобы все видели пулевые раны на шеях. Убитые лежали на окровавленных простынях — лица бледные и заострившиеся, как восковые. О других товарищах, здесь присутствующих, я почти ничего не знаю, за исключением Валентина, — он мой друг, мой однокашник. Валентин лишь водит машину, ждет в двадцати метрах от места операции и никогда ни в кого не стрелял — так он мне говорил. Что касается меня, то я, кажется, убил одного полицейского, когда проводили митинг в районе Ла Чарнека. Товарищи обращались с речами к народу и раздавали листовки: Да здравствует новое правительство! Барретико и я страховали операцию, засев в подвале за углом. Вдруг откуда ни возьмись бежит с пашкой наголо этот дурачок полицейский, наверное из новичков, — болван зачем-то сунулся один и без всякой надобности в район, уже захваченный силами ФАЛН. Барретико и я выстрелили одновременно, с пятиметровой дистанции. Он хлопнулся головой прямо в какой-то подъезд, а мы побежали объявлять тревогу. На следующий день в газетах был портрет убитого — один-единственный выстрел в правый висок, так говорилось в репортаже. Кто-то из нас плохо целился, потому я и употребляю слово «кажется», когда говорю, что убил полицейского. Барретико уверяет, что это была его пуля. Убитый — мулат, по имени Хулио Мартинес, у него были три дочки и золотой зуб, как говорилось в репортаже, и один-единственный выстрел. Интересно, сразила ли кого-нибудь Карминья из своего автомата? Есть ли хоть один

покойник на счету у Спартака, который избрал себе романтический псевдоним восставшего раба и всегда молчит и о чем-то думает, всегда, если предоставляется возможность помолчать и подумать.

Это борьба не на жизнь, а на смерть, я не преувеличиваю. Правительственные войска сожгли селение и казнили трех крестьян, подозреваемых в сотрудничестве с партизанами. Партизаны расстреляли двух крестьян, которые показывали дорогу правительственным войскам. Пяти крестьян как не бывало. Одного заключенного привязали к мачте, к корабельной мачте, вкопанной в землю, и более ста раз ударили толстыми железными прутьями, на следующий день утром его нащипали повесившимся в тюремной камере. Бомба, брошенная городскими партизанами, убила одного офицера правительственных войск, а также старуху, которая продавала конфеты на углу улицы. Пулеметным огнем была встречена демонстрация лицеистов, убит школьник тринадцати лет, и никто не мог собраться с духом сообщить об этом его матери. Одна БТЕ открыла огонь по нефтехранилищу. Нефтехранилище принадлежит «Стандарт ойл», в пожаре погибли две рабочие семьи, среди жертв был грудной ребенок. А недавно найден наш молодой активист, студент юридического факультета, совершенно изувеченный, труп так искромсан и лицо так изуродовано, что сестра смогла опознать его только по зубам. Это война не на жизнь, а на смерть, честное слово.

Мой отец, Хуан Рамиро Пердомо, не согласен со многими нашими делами, никогда не был согласен. Мой отец — коммунист старой закалки, мне думается, он не в состоянии понять новый язык революции, которая, создавая свою теорию, тут же воплощает ее в жизнь. *Рабочий класс — бесспорный авангард, гегемон революции,* — повторяет мой отец то, что когда-то читал. А если рабочий класс думает только о хлебе насущном, революция не может ждать. Мой отец говорит: *Дело в том, Викторино, что марксизм диалектически развивается, как развивается все на свете, но он никогда не изменит своим принципам в угоду снобам от революции.* Мой отец берет слово, когда его об этом совсем не просят; он не говорит просто, а будто произносит речь; в жизни так никто не говорит. *Белармино кончил чистить ногти,*

украдкой глядит на часы, вытирает пот со лба сложенным вдвое платком. Карминья захлопывает книгу, заложив пальцем страницу, на которой остановилась. Я чувствую, как в мой желудок впивается что-то горячее; словно лисьи зубы грызут изнутри мой пуп и не отпускают. *Такую революцию, которую хотят совершить без участия рабочего класса, может, даже и совершат случайно, такую революцию бунтующих молодых интеллектуалов, мятежников, не имеющих настоящей теоретической подготовки, протестующих, но не признающих главенствующей роли рабочего класса, такую революцию называйте как угодно, пожалуйста, но только не марксистской, не ленинской* — в крепком черепе моего отца, как в улье, жужжат эти слова. Карминья, одетая в красное и черное, зря напоминает сейчас о 26-м июле. Белармино до сих пор не пришел в себя от блестящей победы кубинцев, никто и думать не мог, что они сделают революцию раньше нас: вроде бы — остров туризма и табака, легко доступных женщин и баров, рома «Бакарди» и прибрежных казино, «если хочешь вволю погулять», — и мы, с нашими боевыми традициями и антиимпериалистически настроенными массами, с латифундиями, с нефтью, железом, электричеством — всем, чем хочешь. Кто бы мог подумать, что кубинцы нас обскочут... Самое плохое, что если и дальше так будет, как сейчас, мы никогда не сдвинемся с места; никогда, если не отберем бразды правления у руководителей типа моего отца, — людей опытных, благородных, весьма достойных уважения, но не идущих в ногу с нашей атомной космической эрой. Мы не можем позволить, чтобы они забальзамировали марксизм, молодежь этого не позволит, а мой отец не хочет понять, мой отец говорит: *Молодость сама по себе не является революционной силой, она — этап человеческой жизни, который переживают все без исключения: фашисты, полицейские и те, кто бросает бомбы на Вьетнам. Единственная разница между революционером старым и революционером молодым, Викторино, заключается в том, что старый революционер в нашей стране должен вынести все испытания, все преследования и все же остаться революционером.* Мать не вмешивается в наши дискуссии, возможно, она хотела бы что-нибудь сказать, но не говорит; хотела бы заплакать, но не плачет; она предпочла

бы вытерпеть любую физическую боль, чем видеть, как ожесточенно мы спорим, отец на своих позициях, я — на своих. Я с ходу наскочу на толстого кассира: руки вверх, не сопротивляться! Ампара от трех до четырех будет на лекции по истории искусств. «Согласно Вазари, Лука Синьорелли имел одного-единственного сына, юношу семнадцати лет, который погиб». Ампара думает, что я сейчас сижу у Валентина и изучаю теорию подсознания по Фрейдю. Командир Белармино снова поглядывает на часы, берет со стола газету и читает объявления, равнодушный к заманчивым приглашениям: путешествие в Европу на самолетах «Эр Франс», на заднем плане — Триумфальная арка. *Псевдофилософы, которые стремятся разделить общество на поколения, а не на классы, по биологическим, возрастным признакам, а не по идеологическим, остаются всего лишь софистами — дешевыми или дорогими, — которых пригревает буржуазия и т. д.* А все же неприятно тратить сейчас время на мысли о том, что сегодня вечером можно попасть в лапы полиции, что тебя запрут в тюрьму, запрут, предварительно жестоко избив; а потом будут требовать назвать имена и адреса, вышибать зубы дубинками, плевать тебе в лицо, обзывать сукиным сыном и похуже. Я ничего не скажу, я в этом уверен, совершенно уверен, но мне не хотелось бы доказать это на деле. А Карминья все-таки хорошенькая, несмотря на свой автомат, она хорошенькая, хотя некоторые тенденциозные психологи уверяют, что только уродины становятся революционерками. Сейчас 3 часа 10 минут, в эту пору мой отец обычно садился читать классиков, или писал статью в газету, или готовил какой-нибудь доклад; отец стремился стать депутатом, чтобы с трибуны парламента разоблачать козни империализма: гражданин депутат Хуан Рамиро Пердомо имеет слово. Мой отец не понимал, что революцию делают не там, где лишь языком болтают, а там, где прибегают к революционному насилию. *Разве я когда-нибудь отрицал, Викторино, что насилие может стать повивальной бабкой революции? Но я отрицаю твой культ террора, насилия как такового, не опирающегося на теорию; не признаю грубую, примитивную силу всезнающих героев и монументы в честь жеребцов,* — говорит мой отец с возмущением. И с этих позиций его не сбить. Моло-

дежь латиноамериканских стран — это вулкан, который не погасить словами, отец размахивает своими аргументами, как картонным мечом. А что скажешь о кубинской революции, старик? Я принадлежу к силам ФАЛН, я рискую своей жизнью в этих операциях, которые мой отец осуждает; я во сто крат более революционер, чем он со своей теорией сверхприбыли, со своими проповедями для рабочих и своим восстанием на долгий срок — при благоприятных условиях. Я швыряю в него тезисы Мао, как булыжники. Мать наш единственный и немой свидетель, она никогда никому не судья; Мать не хочет быть судьей, а только немым свидетелем. Оружие принес в чемодане Эрнесто, он ходил за ним в наш арсенал, притащил также и пистолет, который нам одолжила БТЕ Санта-Росалии. Пистолет предназначен для Фредди, товарищи не хотели его до последней минуты отдавать, боясь, что больше его не увидят. Оружие находится сейчас в соседней комнате, и каждый из нас по очереди идет с Белармино осматривать свое, я тоже пойду проверить свой револьвер. *Сложность заключается в том, что мы полагали, будто анархизм уже мертв и погребен, убит своими собственными выстрелами, отброшен в сторону мировым прогрессом. И вдруг этот покойник восстает из гроба в самой середине двадцатого века. Ты рассуждаешь как анархист, Викторино, а рассуждать так в наше время — это все равно что лечить аппендицит у знахарки,* — таковы были последние слова моего отца. И я ушел из дома, из дома, за которым следила обычная полиция, тайная полиция и все другие полиции, следили из-за меня и из-за моего отца. Я ушел из дома, ставшего неуютным из-за наших постоянных споров и невыплаканных слез Матери. Я ушел из дома однажды в понедельник и теперь живу в этом паршивом пансионе под вымышленным именем Мануэля Падильи, свободный от семейных уз, от отцовской диалектики. Когда будем пересекать площадь Трес Грасиас, пробьет 4 часа 22 минуты; там, неподалеку от Карса, всегда стоит полицейская патрульная машина; может быть, они что-нибудь заподозрят — четверо мужчин и одна женщина в автомобиле, так всегда ездят налетчики. Если нас заподозрят, начнут преследовать, тогда Белармино... Сейчас мой отец снова в заключении, его перевели в военную тюрьму Сан-Карлос,

Мать опять осталась одна. Черта с два помогла отцу эта представительная демократия, черта с два помогла ему конституционная система, плевать они хотели на его парламентскую неприкосновенность, он был взят прямо из своего парламентского кресла: Вы арестованы, Я хочу заявить!, но они увезли гражданина депутата в черной крытой машине. А теперь он в одной из камер тюрьмы Сан-Карлос, перечитывает «Анти-Дюринг», эх, старикан. Мой толстяк кассир — сорокалетний усач, наверное, у него есть дети, наверное, в своей синей форме он будет сортировать купюры: вишневые десятки, зеленые двадцатки, оранжевые полсотни, шоколадные сотни. Я суну ему свой револьвер прямо под нос и скажу: руки вверх, не сопротивляться! Карминья сидит, скрестив ноги, ее красная юбка немного задралась, обнажив выше колена красивую ногу. Что это случилось утром со мной у Ампары? Какая она была красивая, женственная, когда обнаженная стояла у радиолы. I can't say nothing but repeat that Love is just a four letter word,— поет Джоан Баэз. Ладно, зато раньше у нас все было по-другому. Верно, приятель? Раньше было чудо. А когда победит революция — почему бы ей и не победить? — когда свалится это правительство — а оно обязательно свалится! — я выброшу револьвер ко всем чертям, я найду Ампару, я запрусь с ней на три ночи, пусть ее мать ломится в дверь. Куда задевался Викторино, будут спрашивать товарищи. Кому надо скрываться в день победы? Мне надо, мне. Задача Белармино — разоружить жандарма. Самое опасное дело. Ровно в 4 часа 27 минут Белармино и я войдем в главную дверь. Не откажет ли мой револьвер? Я его пробовал не раз на пустынном берегу, он смазан и вычищен. Не откажет ли? То и дело читаешь в газетах: «Револьвер дал осечку», в телевизионных передачах тоже все время осечка. Толстяк будет считать купюры. Руки вверх, не сопротивляться! А если будет перестрелка? В 4 часа 27 минут. Вдруг слышится голос Белармино: Если меня сегодня убьют, я надеюсь, что сеньориты Ларусс дадут мне отдохнуть недельку в чистилище, прежде чем призовут к своему столику, — говорит он. Ни к чему это, лучше бы помолчал, сейчас не время для таких шуток. Валентин останавливает машину в нескольких метрах от банка, я выхожу через левую

дверцу, с револьвером на поясе — инородная вещь, инородный холод, инородная тяжесть. Уже 4 часа 26 минут. Уже нас ожидает БТЕ. Исидоро у стены католического колледжа. Спартак выйдет из машины с другой стороны, у Спартак в руке будет чемодан для денег, Спартак займется управляющим. Если схватят кого-нибудь — будут мучить, будут прижигать вад утюгом, отобьют кулаками печенку, заплюют лицо, повесят ва... Белармино смотрит на часы, смотрит долго и пристально. Командир Белармино встает, сейчас ровно 4 часа. Все мы встаем, наконец-то сейчас выйдем из этой унылой берлоги. 4 часа равно, Ампара. А если будет перестрелка?

Ни Белармино, опытный бдительный командир; ни Викторино, мятущийся воинственный фантазер; ни духи-провидцы, которых вызывают сестры Ларусс, — никто не обладает способностью предугадать будущее. «Не пытайся заглянуть в завтрашний день», — кажется, это Гораций. И только глубокомысленный Спартак подозревает, предчувствует, знает. Спартак — член ФАЛН. Он стал членом ФАЛН, может быть, потому, что участие в щекочущих нервы опасных операциях доставляло ему не то чтобы удовольствие, а, скажем, наслаждение, как от азартной игры: когда ты на волоске от смерти, кажется, будто выигрываешь собственную жизнь в рулетку, — ставки сделаны! Семнадцать, черное! — и продолжаешь жить. Спартак стал городским партизаном — другая гипотеза, потому что какая-то пружинка в его сердце не давала ему покоя, он должен был отличаться от других, казаться героем в их глазах: что, мол, за удалец, ну и сорвиголова, супермужчина, не парень, а... Спартак полез в горячее дело — третье предположение, потому что ему осточертели скучные общественные поручения, душные собрания, пропитанные мужским потом и запахом дешевого табака; надоела тяжелая пропагандистская работа: напишешь самый невинный лозунг на стене, например: «Да здравствует Че Гевара», а полиция тут как тут и дает тебе по морде. Нелегко определить, каким из этих мотивов руководствовался Спартак, когда вступая в БТЕ, а также почему для своего псевдонима он избрал славное имя

фракийского вождя рабов. Спартак — человек замкнутый, никогда не говорит вслух о том, что думает. Ну и что же? А то, что, может быть, он молча подавлял свое бунтарство, глушил в себе честолюбие, озлобленность и слабость, чтобы в конце концов (в результате весьма сумбурного процесса) все это перешло в неприязнь к централистскому педантизму партийных руководителей, в отвращение к военным или почти военным приказам командиров БТЕ, в презрение к беспрекословному повиновению рядовых товарищей и в то же время — в боязнь смерти, собственной смерти, которая, нацелив рога, подкарауливает в каждом пороке, в каждой тени. Немного позже Спартак понял, что незачем торопиться умирать, у него отпала охота к героической кончине, когда он прикинул, что нет более неприятного долга, чем смерть, будь она проклята, и зачем он только ввязался в эту заваруху? Спартака задержали неделю назад, но этот факт остался неизвестным командиру Белармино, он остался неизвестен и другим членам БТЕ. Спартака задержали в полночь три агента тайной полиции, они караулили его с самого вечера у лифта. Достаточно было пригрозить ему — мы повесим тебя за... Достаточно было поговорить с ним немножко о его близкой смерти. Спартак не хотел умирать. Теперь Спартак — единственный среди них, кто предчувствует, кто знает о провале, который их всех ожидает.

Они выходят друг за другом из дома сестер Ларусс в 4 часа 3 минуты.

Да, никому не дано предвидеть будущее. Патрульная машина, которая будет нести службу на площади Трес Грасиас, пропустит их мимо, словно бы их и не заметит, ни малейшего подозрения не внушит автопатрулю этот черный «шевроле» с пятью мужчинами и одной девушкой; патруль сделает вид, что все в порядке. В «шевроле» Белармино разведет руками, словно рассказывая какую-то историю, чтобы тихо сказать: Надеюсь, вы уничтожили все бумаги из своих карманов, если у кого-нибудь что-либо осталось, надо проглотить. Белармино угрюмо усмехнется и добавит: Самое лучшее средство против опасности — избавиться от страха — чем меньше страха, тем меньше опасность. Так скажет командир Белармино в 4 часа 22 минуты, проезжая через площадь Трес Грасиас. Остальные будут

напряженно молчать. Унылый Спартак не оторвет глаз от своих опозоренных коленей.

В 4 часа 26 минут Валентин затормозит в семи метрах от банка. Викторино вылезет через левую дверцу, Фредди и Спартак — через правую. Белармино выйдет несколько раньше и теперь уже будет идти по тротуару с перекинутым через плечо плащом — приклад его оружия зажат под мышкой, ствол в напрягшейся руке. Мимо пройдут несколько прохожих, продавец лотерейных билетов будет выкрикивать счастливые номера, нищий калека протянет ладонь из своего укромного угла. В эти секунды БТЕ без колебаний ринется в атаку, жребий будет брошен, страх перед опасностью — наибольшая опасность. Руки вверх, не сопротивляться!

Произойдут и другие вещи, но ведь нет пророка... Охранник даст Белармино себя разоружить, не моргнув глазом вручит ему свой разряженный револьвер — так-вы будут инструкции, которые он получил, — отдать разряженный револьвер без всяких возражений. Толстый кассир, дрожа, согласится на все при первом же крике Викторино: Возьмите деньги, возьмите, — затрясется этот бледный студень, — возьмите сколько хотите, у меня двое детей. Несчастный толстый кассир не будет введен в курс дела. Не стреляйте, сеньор! Кассира ни о чем не предупредят. Блондинка секретарша упадет в обморок — права была Карминья! — и из раскрытой сумки на землю хлынет поток интимных вещиц: пудреница, носовой платок, духи, кошелек, губная помада, румяна, ключи, сигареты, гребешок, иголка с нитками, жевательная резинка, аспирин, зажигалка, амулет, шариковая ручка, дезодорант, визитные карточки, удостоверение личности, письмо, портрет Абелардито и крохотный пакетик фирмы «Котекс»... Почему бы не предупредить заранее и эту чувствительную любительницу телевизионных детективов? Затем появится управляющий в сопровождении Спартака, который упрет ему свой «кольт» в спину; они спустятся на три ступеньки вниз. Да, сеньор управляющий будет знать о том, что должно произойти; он ожидает их с четырех часов, но его одолеет такой страх, словно он ничего не знает, — эти бандиты способны на все... На его лысине выступают капли пота, когда откроется дверь, — они способны на все. Викторино быстро переложит купюры в чемодан и в

кожаную сумку. В этот момент командир Белармино с удовлетворением подумает, что никогда еще ни одна операция не проходила с такой точностью, в таком соответствии с выработанным планом.

И все же никому не дано предсказывать будущее. «Истину говорю тебе, ныне же будущее со мною в раю», — наверное, только Он имел право так говорить. В 4 часа 35 минут, когда уже окончится операция, когда они уже выйдут из банка и направятся к автомобилю, посреди улицы они заметят отсутствие Спартака. Куда же он делся, дьявол? Черного «шевроле» тоже не будет на месте. Что же случилось с Валентином? А этот отчаянный женский крик вдалеке? Они узнают голос Карминья. Продавец лотерейных билетов окажется не продавцом, а сыщиком, вооруженным автоматом; калека-нищий прикроет свою нищету пистолетом «вальтер», который сверкнет в его руке; случайные прохожие вмиг залягут за машинами, стоящими вдоль тротуара, все балконы оцетинятся коротко- и длиннотельным оружием, слезоточивая бомба взорвется прямо перед ними. Тогда-то они все и поймут.

Фредди всегда был скор на решения, он быстро шмыгнет за угол, но притаившийся там полицейский натренированной рукой ловко швырнет его на тротуар. У Белармино будет несколько секунд, чтобы поднять свой «томпсон» и дать короткую очередь: он успеет пронзить грудь калеки-нищего, который уже воинственно выпрямился. Один павший враг, один мертвый враг, и все; сам командир Белармино упадет навзничь, изреченный сотней пуль, задержится в луже темной спокойной крови, выкатит глаза в агонии и умрет как настоящий командир, умрет. Чувство мрачной покорности вдруг охватит Викторино посреди улицы: *Для чего бежать? Для чего отстреливаться? Для чего жить? Шесть человек набрасываются на меня, бьют по лицу рукоятками пистолетов, надевают мне наручники, куда-то тащат меня, пиная и крича, Ампара.*

Все это произойдет с 4 часов 27 минут до 4 часов 36 минут. А сейчас еще только 4 часа 3 минуты, шесть членов БТЕ гуськом выходят на улицу. Один за другим рассаживаются в черном «шевроле»: Валентин за рулем, рядом с ним Карминья, с краю Белармино, вы-

ставив локоть в окошко. Фредди, Спартак и Викторино — на заднем сиденье. Ни духам, которых вызывают сестры Ларусс, никому ни в этом мире, ни в ином не дано угадывать будущее. Кроме Спартака.

В одном разделе акта о вскрытии говорится:

«Независимо от увечий, которые, по свидетельству медицинских экспертов, вызвали смерть гражданина Викторино Пердомо, осмотр и вскрытие трупа показали следующее:

- а) наличие многочисленных травм;
- б) перелом первого левого ребра;
- в) серьезное повреждение печени и правой почки;
- г) многочисленные ушибы с кровоподтеками в мягких частях брюшной полости и правой части грудной клетки;
- д) обильные ссадины на животе, на груди и половых органах;
- е) кровоизлияния: субплевральное (правая сторона) и субэпикардальное;
- ж) расширение мочевого пузыря и содержание крови в моче;
- з) полукруглая ссадина, охватывающая переднюю и заднюю части предплечья.

Исходя из этих данных было бы закономерно поставить вопрос: все ли обнаруженные телесные повреждения являются результатом падения из окна разбившегося насмерть гражданина Викторино Пердомо?»

В другом разделе акта говорится:

«Трудно установить, выбросился ли погибший из окна четвертого этажа, как утверждает в заявлении господина министра внутренних дел, или был выброшен оттуда третьими лицами, в последнем случае речь шла бы об убийстве, а решение подобного вопроса выходит за рамки возможностей данной комиссии вследствие недостатка соответствующих доказательств. Однако версия самоубийства, если принять во внимание условия, в которых находился арестованный (руки за спиной, в наручниках) непосредственно перед своей смертью, если учесть расположение и высоту оконного проема, в который, как говорят, он выбросился, а также некоторые другие обстоятельства, версия самоубий-

ства вызывает большое сомнение. Тем не менее серьезность такого заключения обязывает самым тщательным образом проанализировать все факты, основываясь в соответствии с нормами права на доказательствах и фактах, представленных в процессе расследования, и не делая никаких выводов, не согласующихся с материалами следствия».

Последний раздел гласит:

«Наличие крови в моче, находящейся в мочевом пузыре, и отсутствие переломов тазовых костей, как показало вскрытие, свидетельствуют о том, что почки выделяли кровь в мочевой пузырь еще до наступления смерти. Если бы повреждение почек, выявленное при вскрытии, было бы результатом падения из окна, то в мочевом пузыре не была бы обнаружена кровь, так как эти органы, не имея никаких патологических функциональных изменений, могут выделять кровь только в случае их прямого повреждения путем нанесения сильных ударов. Исходя из этих соображений комиссия считает, что Викторино Пердомо был подвергнут до того, как наступила смерть, жестокому обращению с применением силы, бесспорно принявшему формы невиданных пыток и истязаний».

На истерзанном теле, на сломанных костях Викторино Пердомо точь-в-точь, удар за ударом, повторилась история страданий и смерти Хосе Грегорио Родригеса, которая произошла в нашем городе Каракасе несколько лет тому назад, ночью 26 мая 1962 года, когда упомянутый Хосе Грегорио Родригес находился в качестве политического заключенного в здании Генерального полицейского управления (Дихеполя). Хотя, по правде говоря, есть и некоторые различия. Викторино Пердомо в день смерти исполнилось восемнадцать лет. Хосе Грегорио Родригес был уже 35-летним мужчиной, который оставил четырех сирот и не стал героем романа. Однако мы отклоняемся от темы.

КОГДА ХОЧЕТСЯ ПЛАКАТЬ, НЕ ПЛАЧУ

Мама купила глиняную урну и велела задрапировать ее черной материей, Мама ходила за трупом в морг, Мама ехала со своим мертвым сыном в повозке, Мама была в кладбищенской конторе, чтобы уладить формальности, и теперь она здесь, у подножия холма, где его похоронят. Два муниципальных могильщика ставят урну на носилки и начинают восхождение. Мама следует, шепча «Отче наш», за ними, держит обеими руками букетик маргариток, стоивший ей двенадцать боливаров. Надо пробираться сквозь заросли ковыля и колючих нярагатов, откидывать ногами ржавые консервные банки. Они останавливаются под тенью каньяфи-столы. Здесь открытая могила дожидается какого-то покойника. Мама по обыкновению вспоминает отца Викторино, Факундо Гутьерреса, которого она никогда больше не видела, — он всегда был пьян в стельку, наверное и сейчас на ногах не держится, если еще не помер. Два могильщика опускают урну на толстых веревках в глубь ямы. Взмахи лопат, полных земли, заставляют Маму заплакать, хотя она обещала себе не оплакивать Викторино на людях. Могильщики кладут на мягкий холмик опознавательный кирпич, 715FP283, — буквы и цифры намалеваны смолой. Могильщики утирают потный лоб пыльно-серыми платками и спускаются с пустыми носилками. Мама опять бредет вслед за ними среди камней и бугорков. Викторино остается один, захороненный среди множества бедняцких могил, но у него есть своя глиняная урна, задрапированная своей черной тканью, у него есть свой букетик за двенадцать боливаров и слезы Мамы, которые тоже чего-то

стоят. Мама желает доброго вечера муниципальным могильщикам, снова влезает в повозку, чтобы скромно вернуться к кладбищенской конторе.

Мамочка держится прямо с огромным трудом: слева ее поддерживает под руку донья Аделаида, справа — одна из ее приятельниц, назавтра Мамочка и не вспомнит, какая именно. Все происходящее подернуто пеленою слез и вечерними сумерками, которые опускаются теперь довольно рано. Мамочка едва различает знакомые лица в окружающей толпе, любопытные головы то тут, то там высовываются из-за мраморных ангелов и святых дев, скорбные старушки в одеждах ордена Святой троицы бормочут литании, шесть приятелей Викторино несут на плечах его урну от самого катафалка. За ними плывут несметные букеты цветов — ирисы, орхидеи, каллы, розы, гортензии и лилии, пачкающие руки россытью золотой пыльцы; сладкий запах тубероз и нарциссов укачивает Мамочку. Урну опускают на веревках на самое дно могилы, слезы еще плотнее застилают глаза Мамочки. Инженера Архимиро Перальты Эредии нету рядом, он должен быть в Лондоне по делам — по крайней мере так он сказал Мамочке, когда укладывал чемоданы. Пришлось послать ему жестокую телеграмму. Инженер Архимиро Перальта Эредия не успел на похороны, он отчаянно старался достать билет на самолет, но безуспешно. Мамочка слышит голос капеллана словно издалека: *Libera me domine de morte aeterna*¹. Инженер Архимиро Перальта Эредия прилетит завтра к полудню, он не перенесет этого удара, Викторино был для него всем, *Libera me domine de morte aeterna*. Капеллан в белой ризе и черной stole читает поминание, капеллан машет над могилой кропильницей, венки громоздятся пирамидой до ветвей дерева, церемония закончена. Мамочка уже не держится на ногах. Мамочка покидает фамильный склеп Перальты, опершись на чьи-то руки, следующим утром она и не вспомнит на чьи.

Мать оплакивает свое одиночество среди пятидесяти юношей, пришедших на похороны Викторино; ночью они были рядом с ним в похоронном агентстве — шпики

¹ «И избавь меня, господи, от вечной смерти» (лат.).

переписали их имена, глядели на труп с нескрываемой злобой, слали проклятия вполголоса. Только у самых кладбищенских ворот полиция отстала. Мать входит за ограду вместе с группой молодых людей, которые поют: «Bella, ciao, ciao¹, и, если я паду в бою, возьми себе мою винтовку...» Мать чувствует себя одинокой и обессиленной. Даже родственники не узнали о смерти Викторино — газеты ограничились сообщением о нападении на банк и пока ни словом не обмолвились об убитых. Мать не может объяснить себе, каким образом эти пятьдесят товарищей Викторино узнали о случившемся. Они всю ночь провели с ней у гроба, а теперь выкрикивают, как клятву: Мы отомстим за тебя, Викторино, мы отомстим! — поднимают урну на плечи, несут по узким дорожкам. Мрачная ярость делает жесткими юношеские лица; они несут урну, обернутую красным стягом и черной лентой. «Мы — Молодая гвардия...» Хуан Рамиро Пердомо заключен в тюрьму Сан-Карлос, ему не разрешили присутствовать на погребении сына. Мать ощущает, как растет в ней чувство одиночества по мере того, как они приближаются к могиле. Его похоронят на ровной голой площадке, где уже возвышаются сто совершенно одинаковых могил и над каждой сто раз повторенный маленький Христос из черного мрамора. Эти Христы серийного производства стоят дешево. Мать купила одного такого на могилу Викторино. — O, bella, ciao, bella, ciao, — я коммунистом стал на всю жизнь и коммунистом умру... Какая-то девушка плачет вместе с Матерью, какой-то студент с распахнутым воротом говорит над только что сомкнувшейся землей: «Мы отомстим за тебя, Викторино, мы отомстим!» Хуан Рамиро Пердомо в своей камере вопьется зубами в кулак. Нет в мире одиночества, которое можно было бы сравнить с одиночеством Матери. Не юноши и девушки подходят, один за другим обнимают ее, и снова звучит песнь: «Сверкающим солнечным утром я вышел на бой с угнетателем...» Мать медленно идет к выходу среди мрамора и сосен, рядом с ней идет девушка, которая плачет вместе с ней.

¹ «Прощай, прощай, дорогая...» (итал.) — известная песня итальянских партизан времён второй мировой войны.

И вот в первый и последний раз скрестились пути трех женщин, одетых в траур, — той, что притащилась в повозке с подножия холма; той, что вышла из фамильного склепа Перальта; той, что тихо спустилась по узкой тропе. Три женщины в трауре безучастно взглянули друг на друга, словно никогда раньше друг друга не видели — они действительно не виделись — и словно ничего общего у них не было.

Мигель Отеро Сильва

КОГДА ХОЧЕТСЯ ПЛАКАТЬ, НЕ ПЛАЧУ

Художник А. Борисов
Художественный редактор А. Куцов
Технический редактор С. Степанян
Корректор Р. Аксенова

Сдано в производство 3/VII 1972 г. Подписано к печати 9/XII 1975 г. Бумага 84×108¹/₃₂. Бум. л. 3¹/₄. 10,92 печ. л.
Уч.-изд. л. 9,36. Изд. № 12/13879. Цена 49 коп.

Издательство «Прогресс»
Государственного комитета Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 21

Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая
типография имени А. А. Жданова Главполиграфпрома
Государственного комитета Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28

Отпечатано с матриц во Владимирской типографии
Союзполиграфпрома при Государственном комитете
Совета Министров СССР по делам издательств, полигра-
фии и книжной торговли.

Гор. Владимир, ул. Победы, д. 18-б. Заказ 401.